

# Мис Мария Метлицкая

– Рассказы разных лет –



На кружках своих

Мария Метлицкая

**На круги своя (сборник)**

«ЭКСМО»

2017

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Метлицкая М.**

На круги своя (сборник) / М. Метлицкая — «Эксмо», 2017

В молодости человек живет в предвкушении счастья. Кажется, до него рукой подать. Еще чуть-чуть – и оно придет, накроет волной, захлестнет. Известное выражение «Счастье в простых вещах» кажется не просто несправедливым, но даже оскорбительным: каждый день ходить на работу, любить одного и того же человека, варить борщ и воспитывать детей – это счастье? Нет, конечно! Но наступает момент, когда приходит осознание – счастье именно в простых вещах. В работе, которую делаешь день изо дня, в любимом человеке, который мало похож на рыцаря в доспехах и даже на любимого актера. Но это он приносил чай с малиной, когда ты болела, и решал с вашим ребенком задачи по математике. И мы возвращаемся на круги своя – там, где нас любят и ждут, где нас окружают те самые простые вещи, из которых и складывается счастье.

УДК 821.161.1-32  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Метлицкая М., 2017  
© Эксмо, 2017

## Содержание

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| На круги своя                             | 6  |
| Ева Непотопляемая                         | 15 |
| Внезапное прозрение Куропаткина           | 21 |
| Хозяйки судьбы, или Спутанные богом карты | 49 |
| Конец ознакомительного фрагмента.         | 53 |

# **Мария Метлицкая**

## **На круги своя (сборник)**

© Метлицкая М., 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

\* \* \*

## На круги своя

– А браслет я отдам Люське, – бубнила Тереза.

– Ага, отдай, – откликнулась Нана и добавила тише, глубоко вздохнув: – Господи, ну как же мне все надоело!

Она влезла на старый шаткий венский стул и потянулась к верхней полке огромного темного резного буфета. Боже, сколько на нем резных финтифлюшек, затейливого деревянного кружева, крученных непонятных цветов, утиных и рыбьих голов – и сколько же на всем этом старье пыли! Тереза, увлекшись любимой темой, продолжала:

– Борьке квартиру, а кому еще? Все-таки он единственный кровный родственник.

Это камень в Нанин огород – знай и ни на что не рассчитывай!

– Хотя, – вздохнув, добавила Тереза, – Борька, конечно, сволочь. Только и ждет, когда я подохну. Все ждут!

Опять за свое! Однако в этих словах была доля правды, причем приличная доля. Нана старалась считать, что к этим «всем» она не относится. Это было несложно – рассчитывать на что-нибудь у нее причин особенно не было. Тереза надолго замолчала и немигающим взглядом уставилась в окно.

– Что молчишь? – вдруг крикнула она Нане. – Тебе, что ли, думаешь, квартира?

Нана прыгнула со стула, села на него, посмотрела на Терезу и тихо сказала:

– Ну оставь, пожалуйста. Ничего я не жду.

– Врешь! – выкрикнула Тереза и повторила: – Врешь! Святошу из себя корчишь, а сама только и думаешь, что же отвалится лично тебе.

– По себе судишь, – ответила Нана. – Обед греть?

Тереза встрепенулась:

– Что ты там накулемала? Опять небось овощной суп? Надоело до чертей. Хочу мяса, жареного мяса, лобио хочу, сулугуни. Ты грузинская женщина? Или диетсестра в больнице?

– Одно другому не помеха, – ответила Нана. И добавила: – А про все вышеперечисленное я тебе давно советую забыть. Если, конечно, ты хочешь жить дальше.

– Жить? – возмутилась Тереза. – Это называется жизнью? Без чашки кофе по утрам, без рокфора, без бисквитов с джемом? Если это жизнь, то смерти я точно не боюсь.

Тереза скорчила гримасу, одну из тех, которой она часто пользовалась в жизни и которая, видимо, когда-то прекрасно работала, – гримасу обиженной девочки. И застучала ногтем по столу. Ногти у нее были длинные, очень крепкие, слегка загибающиеся вовнутрь. Нана махнула рукой и пошла на кухню. Пока грелся суп, она застыла у окна – выпал первый снег, и было нарядно, торжественно и светло.

Нана уехала из Тбилиси почти десять лет назад. Тогда ей было двадцать семь. Уезжала, да нет, убегала она из холодной, нетопленной квартиры, от ненасытной «буржуйки», которая пожирала невероятное количество дров и ее, Наниных, сил, от одинокой темноты по вечерам – свет давали всего на несколько часов. Убегала от одиночества, отчаяния, безработицы и безденежья. И еще от своего затянувшегося и дурацкого романа, отнявшего у нее все жизненные силы. Романа, не имеющего ни перспектив, ни легкого и скорого, подспудно желаемого конца. Объект назывался Ираклий, был он художник, абсолютно одержимый и такой же абсолютно нищий.

Наверное, гений, так как обычному человеку все же нужно много всего: мебель, одежда, еда, деньги, наконец. И еще планы на дальнейшую жизнь. Ираклия же не интересовало ровным счетом ничего, кроме холстов и красок. Жил он в полуподвальной, сырой комнате, почти не приспособленной для жилья, спал на раскладушке, зимой и летом носил единственные латаные-перелатанные Наной джинсы, черный, связанный ею же свитер – даже

летом он все время мерз – и китайские кеды – тоже круглый год. Питался он лавашом из соседней лавки и чаем. На кофе денег не было. Из дома он выходил по крайней надобности – купить кисти, краски и растворители. Нана приносила ему керосин и подкармливала его – картошка, фасоль, баклажаны. Был он, наверное, большой талант, и посему она мирилась до поры с его странностями. Иногда он делал дивные коллажи из кожи, мозаики и цветного стекла. Она пыталась что-то придумать, кого-то приводила в его мастерскую, бегала по знакомым, но кому это тогда было нужно – в годы разрухи и безвременья? А талантов эта щедрая земля плодила множество. Сама Нана бегала тогда по трем работам – утром на почту, работавшую отвратительно и с перебоями, днем гуляла с соседской собакой, огромным дряхлым сенбернаром, а вечерами мыла посуду в маленькой кафешке. Оттуда и приносила Ираклию что бог, а точнее, хозяин заведения, послал. Ираклий съедал все молча, не глядя, говорил «спасибо» и добавлял, что все это лишнее и что он может вполне обходиться без этого. Нане было обидно до слез. На сколько хватит терпения? У нее хватило на четыре года.

Понимала, что по-другому здесь и быть не может – только терпеть и служить. И восхищаться. Терпела, служила, восхищалась. Потом силы кончились. Позвонила Терезе в Москву, та пообещала:

– Приезжай, что-нибудь придумаем.

Собралась одним днем. Прощаться к Ираклию не пошла. Знала, что он ее не остановит, только плечом пожмет. Зачем же душу теревить? С вокзала поехала прямо к Терезе.

– Таких, как ты, полгорода. Со всех концов бывшей страны. Вот она, ваша драгоценная независимость! Все гордые, а жрать нечего. Все сюда претешь, – хлестала словами Тереза. – Ни на что особое не рассчитывай – только в прислуги. Хочешь, работай у меня, но с жильем устраивайся сама. Я ни с кем никогда не жила и жить не собираюсь.

Жила Тереза в центре, в огромной старой квартире, с высоченными потолками, с лепниной, эркерами и старинным, наборным, уже разошедшимся паркетом. Квартира была в ужасном состоянии – ремонта там не было лет двадцать. Уже тогда вокруг Терезы вились разные ушлые людишки, предлагая обмен с доплатой в любом спальном районе Москвы, загородный дом со всеми удобствами и просто огромные деньги. Старуха была непреклонна – не сдвинусь отсюда никогда. В деньгах особой нужды у нее не было – постоянно, раз в месяц примерно, приходила знакомая тетка с клиентами, которые что-то покупали: то брошь с изумрудами, то часы с амурами, то консоль из карельской березы, то севрских пастушек. Ей вполне хватало на безбедную жизнь. И все это добро не кончалось, не кончалось. Нана никак не могла взять в толк, почему Тереза не оставляет ее ночевать – комнат было три. Но Терезино слово было твердо, и Нана стала искать жилье. Она сняла комнату в частном доме, правда, сразу же за Кольцевой – в общем, еще почти Москва. В доме имелось газовое отопление, и это уже было счастье. Нана все время мерзла. Да разве это трудности после Тбилиси – вода и электричество круглые сутки, на участке банька. Хозяйка Нану жалела, считала почему-то беженкой и вечером оставляла на плите алюминиевую миску мясных щей и черный хлеб с толстым шматом сала и пучком зеленого лука. В доме было тепло, и Нана, почти счастливая и сытая, быстро засыпала под тяжелым ватным одеялом под размеренное тиканье хозяйских ходиков.

Тереза, конечно, капризничала. Всю жизнь она привыкла быть центром вселенной. Теперь все ушло, испарилось – поумирали любовники и подруги, закончились для нее рестораны и театры, выезды в гости, портнихи, маникюрши, массажистки. Закончилась та жизнь, где все крутилось, вертелось, не умолкал ни на минуту телефон, приносили на дом обеды из «Арагви», спекулянтки привозили тряпки, в ювелирном на Горького тоже был свой директор – в его кабинете она выбирала серьги, в «Тканях» на Герцена перед ней раскатывали километры бархата и шелка, в Елисеевском выносили коробки с ананасами, икрой и балы-

ками, лучшие доктора принимали ее у себя на дому. И каждый вечер она решала сложную проблему – куда пойти сегодня, где будет интереснее и веселее.

Когда-то Тереза была светской львицей и одной из самых известных красавиц Москвы. Про себя она так и говорила: «Моя профессия – красавица». Она родилась в простой рабочей семье – отец ее был поляк, рабочий на камвольной фабрике. Ее, шестнадцатилетнюю девочку из рабочего Орехова-Зуева, привез в Москву первый муж, увидевший ее случайно и абсолютно сразу же потерявший от нее голову. Было ему около сорока, и занимал он крупный пост в военном ведомстве. Свою семью он оставил моментально и без раздумий, а Терезу не просто обожал, а боготворил. Он понимал, что она истинный алмаз, и на оправу явно не скупился. К двадцати годам недавно нищая и голодная Тереза уже имела личную портниху, косметичку, домработницу, несколько дорогих шуб и полную и абсолютную власть над мужем. Вкус, надо сказать, у нее был отменный от природы, и она моментально, без переходов, вступила в новую жизнь. К тому времени погиб, попав под электричку, ее отец, остались мать-ткачиха и две младших сестры. Дорогу в поселок она забыла сразу же, а вот шофера с продуктами отсылала туда еженедельно.

Хороша она тогда была сказочно – очень высокая, крутобедрая и полногрудая, с тонкими, длинными пальцами и очень изящной, маленькой ступней. Натуральная пепельная блондинка, с карими, слегка навывкате, глазами, с белоснежной, совсем без румянца, тонкой кожей и крупным, ярким капризным ртом.

Свое убогое детство и юность она с удовольствием забыла, органично вписавшись в столичную жизнь, придумав себе какое-то дворянское происхождение и богатых дальних родственников в Варшаве. Прожили они с мужем всего лет семь – он скончался от инфаркта мгновенно, не пережив каких-то несправедливых пертурбаций на службе. Тереза осталась юной вдовой. Да, конечно, были роскошная квартира, шкафы, полные нарядов, шкатулки с драгоценностями, но совершенно не было средств. Тереза впала в панику и отчаяние, однако выход нашелся довольно скоро – она закрутила роман с начальником покойного мужа. Он был тоже немолод, несвободен, но карусель опять понеслась – гости, подарки, водитель, прислуга. Правда, теперь изменился ее статус – она была только любовницей, и это ее угнетало. Стала присматриваться к возможным кандидатам в мужья. Присмотрела – немолодого, но очень известного актера кино. Он был небогат, но все двери перед ним были нараспах. К тому же престиж. Окрутила она его довольно быстро, а вот с любовником прощаться не собиралась, встречалась с ним тайно на съемной квартире, когда муж отсутствовал в городе. Так продолжалось пару лет, с мужем у нее теперь было совсем иное общество – писатели, композиторы, художники, но и старая связь с генералом казалась тоже незыблемой. Но кто-то стукнул, его припугнули наверху, и от Терезы он отказался. Стал попивать и муж-актер, до которого теперь тоже доползали разные слухи. Брак трещал по швам. Однажды пьяный актер поднял на нее руку, но она – крепкая и сильная, остановила это дело разом, припечатав его к стене. Денег категорически не хватало – у актера уже была репутация сильно пьющего человека, и сниматься его почти не приглашали. Появились новые лица. Он ныл, скулил, жаловался на жизнь и изводил этим бедную Терезу. Роль жены-матери была явно не по ней. С актером она развелась и закрутила роман с набирающим тогда силу поэтом-песенником. Родом он был из Грузии и, абсолютно игнорируя свой брак и тихую, забитую жену, появлялся с Терезой везде и всюду открыто, представляя ее своей музой. С ним она стала тогда ездить по всему Союзу и даже за границу. Властью он был вполне обласкан и любим. Часто бывали они и на его родине, в Тбилиси, где он считался гордостью и национальным героем. Там же, в Тбилиси, Тереза познакомилась с матерью Наны, дальней родственницей поэта. Они даже вполне подружились, если к Терезе вообще можно было применить слово «подруга». Мать Наны присылала ей из Тбилиси посылки – ее любимую чурчхелу, вяленую хурму, орехи, инжирное варенье. А Тереза отправляла в Тбилиси свои старые тряпки, отслужившие ей уже

вполне, початые флаконы французских духов, неудобную ей обувь. В общем, началась игра – щедрая богатая дама и бедные благодарные родственники. Впрочем, там все действительно были счастливы и считали Терезу широкой и доброй душой. Ей это было приятно, как всегда приятно кого-то облагодетельствовать. К тому же это давалось легко и не требовало никаких душевных и материальных вложений, что Тереза ценила превыше всего. С поэтом она прожила весело и беззаботно лет восемь, а потом он вероломно предал ее, женившись на восемнадцатилетней дочке их общей приятельницы, объявив теперь своей музой эту малолетку. От предательства и обиды Тереза оправилась не сразу. Особенно когда поняла, что ей уже под сорок и шансы ее, увы, уже не так высоки, как прежде. Она так долго пребывала в статусе первой красавицы, что смириться с новым положением – брошенной немолодой любовницы – ей было очень нелегко. А сплетни, а насмешники!

Когда она немного оправилась от обид и унижений, то поняла: хватит с нее эксцентричных и непредсказуемых людей богемы. Ей нужен муж, именно муж, а не любовник. Устойчивый, надежный, верный и обеспеченный. С выходом в тираж мириться она категорически не хотела и отправилась в санаторий на море – покой и еще раз покой, массажи, диета, крепкий сон. В Москву вернулась через месяц – помолодевшая, похудевшая, с яркими живыми глазами, настроенная только на победу. Но с мужем не вышло. Тереза влюбилась насмерть – по законам жанра опять в объект недостойный и никак не вписывающийся в ее планы. Это был молодой красавец-балерун, жиголо, коварный и расчетливый. Здесь все было гнуснее и сложнее. Кроме Терезы, у балеруна были еще вполне внятные увлечения горячими поклонниками мужского пола. В одночасье Тереза стала для него и мамкой, и нянькой, и подружкой – кормила его, одевала, возила на курорты, делала ремонт в его захудалой однокомнатной квартирке где-то на окраине. За все это получала жалкие крохи – изредка благодарность и уж совсем редко – вялые, непродолжительные ласки в форме одолжения. Вот тогда она начала носить в комиссионку столовое серебро и украшения. Худела, много плакала, караулила его ночами. Ненавидела и презирала себя, но ничего поделать с этим не могла. Решилось все само собой спустя три года – на гастролях в Германии коварный возлюбленный сбежал от своей трупы, разом избавив Терезу от невыносимых страданий и непомерных трат. Она поубивалась полгода и наконец-то стала приходить в себя – так восстанавливаются после тяжелой и изнурительной болезни. Увидела в зеркале и новые морщины, и седые волосы. Огляделась – квартира прилично разграблена и опустошена. Да и очередь под дверью не стоит – годы. Но постепенно собрала себя по частям – поменяла обои, чтобы скрыть дырки после вынесенных из дома картин и тарелок, и нашла себе мужа. На ее жизнь глупостей достаточно. Кандидат в мужья был из академической среды, совсем незнакомой ей. Ученый с мировым именем, академик при всех регалиях, вдовец. Обработала и окрутила она его довольно лихо – для него она была вполне молода и, безусловно, все еще очень хороша собой. В довесок к мужу-академику ей досталась огромная запущенная квартира на Патриарших и дача в Мозжинке – гектар дремучего леса. Но главное не это – теперь у нее появился статус, она сделалась законной супругой академика. Вначале ей показалось, что это абсолютно другой мир – интеллигенция, ученые, совсем другие ценности. А когда разобралась, то оказалось, что все одно и то же – те же сплетни, зависть, подсиживания, интриги и интрижки. Что ж, в этом мире она вполне сумеет сориентироваться.

У мужа вечно были симпозиумы, конференции, лекции, поездки. Во всем этом она разбиралась слабовато, но лицо держала – будьте любезны. Жизнь началась спокойная, размеренная, сытая и тихая. Через четырнадцать лет Тереза опять овдовела. Правда, теперь беспокоиться ей было не о чем.

Страсти давно откипели, старость ей была обеспечена. Одиночество? Да и в этом есть своя прелесть. Ни ты ничего не должна, ни тебе. Правда, с годами объявились родственники – племянник Борис, сын ее младшей сестры, сорокалетний потасканный холо-

стяк-неудачник, и племянница Люська – дочь от второй, старшей и уже умершей, сестры. Люська была нищая разведенка, играющая в простушку, вдруг крепко возлюбившая свою стареющую тетку, рьяно проявляющая о ней суетливую и бестолковую заботу, а на деле – хитрая, примитивная и расчетливая подхалимка. Тереза ее не выносила. А вот к молчаливому Борису относилась снисходительно, периодически, правда, напоминая ему, откуда его вытащила. Борис, человек нервный, желчный, издерганный, был острым на язык. С Люськой они друг друга ненавидели и старались не совпадать. Тереза Борьку этого жалела, подбрасывала денюжат и даже, расщедрившись, купила ему машину. Он все это принимал с шутовскими поклонами и едкими комментариями – так он вроде отстаивал свою независимость. Люська страстно ему завидовала и постоянно пыталась вбить клинья между теткой и братом – ей доставались лишь выношенные пальто и старые туфли на сбитых каблуках. Она всегда приносила кулечек дешевых конфет – дескать, оторву от себя, но с пустыми руками не приду, – долго пила на кухне чай и без остановки канючила: еле притащилась, ноги промокли, сама вымерзла, а вот о тебе, тетя, дорогом человеке, не забываю. Тереза ее презирала и принимала только на кухне. Тогда же и появилась в Терезиной жизни Нана – одинокая, сбежавшая из Тбилиси от неустроенности и тяжелой любви.

Платила Тереза ей щедро и уже держала за родного человека. У Наны с Борькой начался несуразный, вялотекущий роман – да нет, даже не роман, а какие-то дурацкие отношения: без чувств, без обязательств, просто прибились друг к другу от тоски два одиноких человека. Нана смотрела на Борьку – тощего, узкоплечего, лысеющего, с вечной гримасой недовольства на лице, с потухшими глазами и бледным ртом – и вспоминала буйные черные кудри Ираклия, его прекрасные тонкие руки, черные влажные глаза и запах жизни и таланта, исходящий от него.

Что изменилось в ее жизни? Не прибавилось ни радости, ни счастья. А может, счастье было тогда, когда она приходила в его нетопленную лачугу, осторожно трогала холсты, приносила горячий лаваш и зелень, мыла в холодной воде кисти?

Нана налила в глубокую тарелку фасолевый суп, накрошила туда много зелени – привычка кавказского человека, тонко нарезала хлеб, поставила все это на фарфоровый поднос с салфеткой и понесла в комнату Терезе. Та дремала в кресле.

– Обед, – сообщила Нана.

Тереза вздрогнула и открыла глаза.

– Господи, ну что ты орешь? – недовольно сказала она, подвинула к себе поднос и стала жадно есть.

Нана сидела напротив и молчала. Потом Тереза опять завела свою бодягу про наследство. Опять делила кольца, распределяла сервизы и картины, считала деньги, оставшиеся от продажи дачи в Можинке, правда, они уже были почти «проедены». Объявляла в сотый раз, что Люське не даст ничего, а потом вспоминала, что она человек справедливый и что не обидит никого. Добавляла, что все-таки Люська мерзкая, а Борька – фрукт еще тот. Что-то лепетала по поводу Фонда мира, Красного Креста и детских домов. Нана молчала. Она унесла поднос на кухню и принялась варить кофе – себе и Терезе.

«Не спросила даже, ела я или нет, что за эгоизм, да вся эта семейка, вместе взятая, друг друга стоит».

Потом они пили кофе с печеньем, и Тереза, щурясь и стуча ногтем по блюдцу, все спрашивала у Наны:

– Ну а ты-то что про все это думаешь?

– Сама решай, – твердо останавливала ее Нана и просила в который раз с ней этих разговоров не вести.

Но Тереза была опытной провокаторшей.

– Дай коробку! – приказывала она.

Нана вздыхала и шла в спальню. Коробка стояла в шкафу под постельным бельем – на самой верхней полке. Это была старая и ветхая коробка из-под туфель, заклеенная по углам широким скотчем.

– Господи, как все надоело, – шептала Нана, слезая со стула.

Она входила в комнату и демонстративно шлепала коробкой об стол. В коробке звякало.

– Ну, я могу идти? – спрашивала Нана и замолкала, отвернувшись к окну.

Как-то раз Тереза, молча перебирая драгоценности артритными, скрюченными пальцами, бросила что-то через стол.

– Это будет твое. – Нана не двигалась. – Не хочешь посмотреть? – поинтересовалась Тереза. Нана взяла в руки кольцо.

– Четыре карата! – подбородком кивнула Тереза и в царственной позе откинула голову. – Здесь на все хватит. Ты на это жизнь устроишь. Куда ты после моей смерти? Пропадешь.

– Спасибо, – кивнула Нана. – Но ты живи, и вообще не надо мне ничего.

– Целку из себя не строй! – крикнула Тереза. – Не надо ей! Врешь! Все только и ждете, когда я «приберусь».

«Да ты здоровее нас всех», – подумала Нана. Она положила кольцо на стол и пошла мыть чашки. Потом надела сапоги, пальто и заглянула к Терезе:

– Я пошла, ехать далеко.

Тереза не ответила, только кивнула.

– Я тебе завтра нужна? – спросила Нана.

– Завтра эта драная лахудра припрется, – ответила Тереза, имея в виду Люську.

Нана добиралась, как всегда, долго. Автобус, метро, опять автобус. Пришла замученная и продрогшая. Очень хотелось горячего чаю, но на кухню она не пошла – не хотела тревожить хозяев. У нее в комнате всегда стоял термос с кипятком. Она бросила в чашку чайный пакетик и налила воды. В комнате было прохладно – дуло из окон. Она надела толстые шерстяные носки, спортивные штаны и старый свитер. Забралась под одеяло. Почему-то уснуть не получалось.

Она вспоминала родной Тбилиси, мощные горбатые улочки, утопающие в плотной зелени деревьев, запах горячего лаваша и терпкой зелени, свою молодость, полную надежд, необъяснимую радость и легкость – от всего. Вспоминала Ираклия, его убогую каморку, его тонкие нервные пальцы и его острые ноздри, горящие глаза и его ласки, яростные и беспокойные, и такие редкие ласковые слова. И бесконечную одержимость. Что это было? Любовь? Если так, то почему она уехала тогда от него? Да нет, не уехала, а сбежала, сбежала. А он? Он, наверное, пропал, сгинул, и пропали все его прекрасные картины, и обвалилась его ветхая лачуга. Обвалилась так же, как ее, Нанина, жизнь. А на что она рассчитывала? На приз, на удачу? Удачей можно было считать работу у Терезы, хотя и это большой вопрос. А если считать призом Бориса, то приз этот весьма сомнительный. А если все это бросить на весы? Там – родина, солнце, гений и любовь. Она могла бы служить гению – и в этом было бы счастье. А сейчас у нее чужой, холодный, сумасшедший город, чужой, жесткий топчан, капризная старуха и чужой, нелюбимый человек. Там она мыла кисти в холодной воде, от которой стыли руки, но мыла она их гению. А здесь под чужим металлическим рукомошником негнувшимися пальцами она стирает носки бездарю и нелюбимому. Наревевшись вдоволь и нажалевшись себя, Нана уснула, а утром ее разбудила хозяйка.

– К телефону, – недовольно бросила она.

Нана бросилась к телефону – звонили ей крайне редко, только в случае чего-то экстренного. В трубке сквозь рыдания слышался Люськин крик:

– Приезжай срочно, дверь взломали, а она мертвая за столом сидит, холодная уже. Ее ломали, чтобы распрямить.

«От испуга орет, не от жалости», – почему-то мелькнуло у Наны в голове. Она быстро оделась, выскочила из дома и схватила попутку.

Дверь в квартиру Терезы была открыта, и там толпилось много людей – Люська, Борис, соседи, врач, участковый. Почему-то подумалось, что все ходят в грязной обуви по светлому ковру, который накануне Нана вымыла щеткой со стиральным порошком. Когда все оформили и Терезу увезли, в квартире осталось три человека – Нана, Борис и Люська. Нана и Борис молчали, а Люська продолжала всхлипывать и причитать.

На буфете лежал плоский заклеенный белый конверт. Нана протянула его Борису. Осторожно, ножом, он вспорол плотную бумагу, и Люська наконец заткнулась. Борис достал из конверта тетрадный листок в линейку, исписанный крупным, неровным почерком, и стал читать вслух. Последний привет от Терезы:

*Квартира, Борька, тебе. Хоть ты и сукин сын. Смотри не просри. Люське отдай богемский сервиз, браслет с жемчугом (у которого сломан замок) и каракулевую шубу. Коричневую. И хватит с нее, дуры. Черную отдай Елене Павловне (участковый врач). И норковую шапку тоже ей. Икону, ту, что висит в спальне, отдай бабе Тане – соседке напротив. Она хоть и противная старуха, но единственный верующий человек. Не то что все мы. Кольцо, что в четыре карата, отдай Нанке за верную службу. Ей на все хватит. Сделай все, как я прошу. Морды друг другу не расцарапайте, а то я там буду недовольна, хоть и повеселюсь. Все.*

Борис прочел письмо и замолчал. Молчали все. Первой пришла в себя Люська. Бесконечно моргая мелкими, без ресниц, глазами и утирая ладонью хлюпающий острый нос, заверещала в голос и с угрозой:

– Хрен тебе, Борька, а не квартира. Судиться с тобой буду, шубу мне, курва старая, молью побитую, откинула, браслет сраный, а этой приживалке, – она кивнула на Нану, – четыре карата, щас, подождете слегка. Все с тобой делить буду. По закону – судом. Это не завещание, а филькина грамота, от руки написанная. Все пополам! Я ей такая же племянница, как и ты. До последнего буду биться, – зловеще пообещала Люська. Лицо ее из серого стало кирпичным, и она всем туловищем подалась к Борису.

Борис молча курил, а потом спокойно бросил ей:

– Да пошла ты, тварь.

Нана вскочила, схватила сумку и бросилась к двери. Борис нагнал ее на лестнице и сунул в руку кольцо, которое лежало в конверте. Нана плакала и качала головой.

– Ничего мне от вас не надо, ничего у вас не возьму. – У нее начиналась истерика. – Сволочи вы, гады, вы ведь ее даже не похоронили. Она-то цену вам знала. Ничего мне от вас не надо!

– Это не от нас, – спокойно сказал Борис и вложил кольцо ей в ладонь. – Это тебе от Терезы, она так хотела.

Нана выскочила на улицу. Там было еще светло – шел ровный крупный снег. Хоронили Терезу через два дня. В гробу она лежала спокойная и величественная, как царица. Было видно, что хоронят красавицу. Поминки устраивала Люська – пекла блины и рыдала без конца. А глаза были пустые и злые. Люська по-хозяйски доставала остатки драгоценной Терезиной посуды и расстилала кружевные крахмальные скатерти. Молча выпили водки – никто не сказал про Терезу ни слова.

«Вот что осталось от Терезы – пустыня и холод, ни грамма любви, – подумала Нана. – И к чему была ее красивая и богатая жизнь?» Об этом, наверное, знала одна Тереза. И скорее всего, ни о чем не жалела. Как прожила, так и получила. Никто не скорбел. Все подсчитывали свои доходы и убытки. Собственно, делали то, что делала сама Тереза всю свою жизнь. Была

ли она счастливой? А кто из присутствующих здесь был хотя бы чуть-чуть счастлив? Да разве это нам обещали?

Что-то прошипев, уехала к себе Люська. Нана мыла посуду.

– Останешься? – спросил Борис.

Ехать в ночь в свою хибару Нане не хотелось. Она легла в Терезиной спальне. Ночью к ней пришел Борис. Утром Нана проснулась – рядом лежал чужой человек. Слипшиеся редкие волосы на выпуклом лбу, хрящеватые уши, полуоткрытый рот. Нана умылась холодной водой, съела яблоко, оделась и ушла, не попрощавшись, понимая, что в этот дом она больше не вернется. Квартира без Терезы казалась холодной и чужой.

Через три дня Нана вспомнила про кольцо и поехала на Арбат.

– Чем порадуете? – с сарказмом осведомился старый плешивый ювелир с моноклем в глазу.

Она протянула кольцо в узкое окошечко. Ювелир поднес его к глазам и хмыкнул:

– Это не ко мне, это в галантерею напротив. – И небрежно бросил кольцо в металлическое блюдце. Оно жалобно звякнуло.

– В каком смысле? – не поняла Нана.

– Это подделка, стекло, дерьмо, короче, – ответил он ей.

– Вы ошибаетесь, – горячо заверила его Нана. – Это старинный бриллиант, четыре карата, наследство от тетушки, посмотрите внимательнее, – убеждала его Нана.

– Ваша тетушка – большая шутница, – засмеялся ювелир. – Веселится, поди, на том свете, глядя на вас. Я тут сорок лет сижу и стекляшку от бриллианта отличать научился, слава богу. Так что привет вашей остроумной тетушке, дорогая наследница, – острил он.

Нана вышла на улицу. Сначала она решила заплакать и горько пожалеть себя и свои убитые годы, а потом ей стало смешно и легко. Как-то сразу смешно и легко одновременно.

Она посмотрела на часы и заспешила. Билетные кассы могли закрыться на обед. Билет в Тбилиси она взяла на следующий день. Кольцо сначала хотела выбросить, а потом передумала – все же память о Терезе. Прилетев, она поймала такси и назвала адрес. Они ехали по знакомым улицам, и она попросила шофера ехать потише и с удовольствием болтала с ним обо всем – на родном языке. Обычно немногословная, никак не могла остановиться. Она открыла дверь в квартиру, зашла в свою комнату и села на диван. Там было все по-прежнему, только сильно пахло пылью. Нана встала и распахнула настежь окна. Ворвался свежий ветерок, и запахло весной. Она не стала разбирать чемодан, только поменяла теплую куртку на легкий плащ и, быстро сбежав по ступенькам, вышла на улицу, остановила попутку и быстро доехала до знакомого дома. Там было все по-прежнему – тихой окраины, слава богу, не коснулись перемены. Она подошла к знакомой двери, и у нее перехватило дыхание. Потом она толкнула дверь рукой. В комнате было тепло и горели толстые белые свечи. За столом сидел Ираклий и кусачками ломал крупные куски цветной смальты на осколки. Он поднял глаза и увидел Нану. Она стояла в дверном проеме, не решаясь войти.

– Гамарджоба, Нанули! – сказал Ираклий. – Тебя так долго не было! Ты потерялась в лесу? Заблудилась? – усмехнулся он.

– Да, Ираклий, я потерялась и заблудилась, – ответила Нана. Грузины умеют говорить иносказательно и красиво. Древняя культура тостов и застолий.

– Хорошо, что пришла, – кивнул Ираклий. – Я соскучился. И очень хочется есть. Лаваш принесла?

– Нет, – ответила Нана. – Я очень торопилась. Сейчас я все принесу, сбегая в магазин.

– Он за углом, Нана, помнишь дорогу? Смотри опять не заблудись. Искать тебя у меня времени нет. – Он внимательно посмотрел на Нану.

– Я помню дорогу, Ираклий. И вряд ли опять заблужусь. Не волнуйся, – тихо ответила Нана. Она подошла к Ираклию, провела рукой по его голове и увидела тонкую серебристую

прядь у него в волосах. Она вышла на улицу и неспешно пошла известным маршрутом. Ярко светило солнце. В лавке зеленщика она купила яркую, пеструю зелень, у булочника взяла ноздреватый, обжигающий лаваш, а шашлычник на углу сыпал ей в бумажный пакет молодое, сочное и горячее мясо. Она медленно шла по улице, и душа ее была наполнена радостью и покоем. «Все возвращается на круги своя», – подумала Нана. И ощутила огромное, непомерное счастье. Такое, какое бывает только в детстве.

## Ева Непотопляемая

В семье говорили про Еву многое. И все – разное. Чтобы столько говорили об одном человеке! Столько суждений и мнений. Хотя понятно, семья с годами разбухла, разрослась. Все женились, разводились – образовывались новые ветви, а там тоже дети, внуки, сводные братья и сестры, бывшие жены и мужья.

Конечно, все люди разные, и мнения тоже у всех свои. Итак, говорили всякое. Например, что Ева – блестящая женщина, нестигаемая, как стальной прут. Сумела пережить страшный удар судьбы: двадцать лет, самый пик карьеры блестящей спортсменки-фехтовальщицы – и травма. Что-то с голеностопом. Да такая травма, что не то что о спорте не могло быть и речи, молили бога, чтобы просто ходила не хромя. Ева научилась и ходить, и не хромать. Год по больницам, три операции. Два года после костыля репетировала походку легкую, летящую – с носка. Карьера не задалась, а выживать надо было. Стала учиться ювелирному делу. Купила в долг инструменты – штихель, пуансоны, ригель, фальцы, фильеры. Работала с поделочными камнями – яшмой, малахитом, бирюзой. Любила серебро, изделия ее были крупными, массивными, слегка грубоватыми, но имели свою прелесть, оригинальность и шарм. Раскупали все с удовольствием. Да и сама Ева была наглядным примером, как их нужно носить. И ей действительно все это очень шло – подвижная, суховатая, гибкая, длинное, узкое лицо, крупный породистый нос, темные, чуть навывкате, глаза с широким и красивым верхним веком. Крупные, ровные зубы. Гладко затянутые в тугий узел волосы. Шелковый шарфик на длинной жилистой шее. В ушах – малахит в черненое серебро, крупный, неровный, к нему бусы, браслет, кольцо. Узкие брюки, свитерок в обличку, талия – предмет всеобщей зависти. Садилась в кресло и закидывала одну на другую длинные ноги. В тонких сильных пальцах – сигаретка. Безукоризненный яркий маникюр.

Кто-то говорил, что Ева – большая эгоистка. В тридцать лет сделала аборт, от мужа, между прочим. Громко заявила:

– На черта мне дети? Посмотришь на всех на вас – и расхочешь окончательно. Бьешься, рвешься на куски – сопли, пеленки – а в шестнадцать лет плюнут в морду и хлопнут дверью. Нет уж, увольте.

С этим можно согласиться, а можно и поспорить. Но спорить с Евой почему-то не хотелось. Суждения ее всегда были достаточно резки и бескомпромиссны.

– А как же одинокая старость? – вопрошал кто-то ехидно.

– Разберусь, – бросала Ева. – Были бы средства, а стакан воды и за деньги подадут. Зато проживу жизнь как человек. Без хамства, унижений, страха и обид.

Еву, конечно, все кумушки тут же осудили: что это за женщина, которая не хочет детей? Холодная и расчетливая эгоистка. И все ей аукнется, никто не сомневался. Муж ее, кстати, человек незначительный, мелкий во всех смыслах, какой-то чиновник средней руки, ничего примечательного, точно не Евин калибр, на эту историю обиделся, собрал вещи и ушел к своей секретарше. Дальше про него неинтересно.

А замуж Ева так больше и не вышла. Говорила, что все поняла и ничего привлекательного в этом нет. Что ж, в это вполне верилось. Хотя мужиков вокруг нее всегда крутилось достаточно. Спустя несколько лет ювелирное дело свое она забросила. Говорила, что сильно упало зрение. Да и реализовывать это с годами стало все труднее и труднее.

К середине жизни она оказалась в школе. Правда, не совсем обычной, а английской, элитной, лучшей в районе. И очень престижной. Считалось большой удачей устроить туда свое дитяtko. Работали либо регалии, либо важный звонок сверху, либо весомое подношение. Должность ее называлась секретарь директора. Вроде и должность – ерунда, никакая, что с секретарши возьмешь? Но тут надо учитывать некоторые обстоятельства.

Во-первых, директриса была из старой гвардии, дама почтенного возраста, ярая коммунистка и сталинистка, интригами и прочими вопросами не интересовавшаяся вовсе. И тут Ева всю развернулась. Ее энергия была ключом – она точно оказалась на своем месте: сводила нужных людей, выстраивала сложные цепочки отношений, без стеснения выделяла наиболее выгодных родителей, без смущения пользовалась их услугами и связями. Доставала лучшие билеты на лучшие премьеры, ей были открыты двери в закрытые ателье Литфонда и ВТО, известная секция в ГУМе была к ее услугам постоянно, продуктовые заказы с финской колбасой, икрой и крабами, французская косметика, югославские плитка и обои, японские телевизоры, индийское постельное белье, Булгаков и Цветаева, изданные крохотными тиражами и продающиеся исключительно за валюту, лучшая медицина Москвы, путевки в самые недоступные санатории... Словом, балом в школе правила исключительно Ева, умевшая интриговать, дружить и «подруживать». Часами висела на телефоне и устраивала чьи-то судьбы. Иногда вполне бескорыстно – ей нравился сам процесс.

Короче говоря, царствовала и правила уверенно и с удовольствием. Когда она шла по школе, расступались притихшие дети и склоняли голову в почтении учителя. Решала Ева вопросы любой сложности. Так к ней приклеилось еще одно определение – «Ева Ловкая и Всемогущая». Кто осуждал (а таких было множество, впрочем, не брезгавших ее помощью), называли ее совсем коротко – деляга... Было много завистников. А чему завидовать? Это тоже талант – суметь так организовывать и использовать людей. Наверняка деньги Ева тоже брала. По крайней мере, перехватить у нее можно было всегда – и довольно крупную сумму. В долг она давала легко и никогда не напоминала о нем забывчивым должникам. В общем, она была еще и Евой Благородной. Сидела она в своем предбаннике, именуемом канцелярией, покачивая крупными серьгами и дымя сигареткой (это ей тоже разрешалось непосредственно на рабочем месте), и разруливала вопросы почти мирового масштаба.

Была она по-прежнему формально одинока, то есть не замужем, хотя любовники были у нее всегда. Но на семейные сборища Ева неизменно приходила одна. К себе звала один раз в год – на свой день рождения в середине февраля. В маленькой однокомнатной квартирке не было обеденного стола – только журнальный. И Ева накрывала фуршет – многослойные канапе, безжалостно проткнутые насквозь яркими пластмассовыми шпажками, крохотные маринованные корншоны, паштет и оливье в тарталетках, малюсенькие, на один укус, пирожные, сделанные на заказ.

– Ко мне приходят не жрать, а общаться, – объясняла она.

И это была правда. Конечно, некоторые активистки бурно обсуждали после, какая Ева нерадивая хозяйка. Но все легко ей это прощали. Слишком многие попадали в зависимость от ее возможностей. С ней было выгодно дружить.

Времена изменились, сталинистку-директрису ушли на пенсию. На смену пришло новое молодое начальство, которое попыталось справиться с Евой. Но не тут-то было. Сдавать свои позиции она явно не собиралась, правдами и неправдами оставалась на своем месте и в том же статусе – хозяйки школы. Она стала еще более популярной и, как говорили теперь, раскрученной. Правда, теперь, вследствие отсутствия дефицита как такового, потребность в блате практически отпала. Но в связях – отнюдь. Знакомства, хорошее имя и репутация по-прежнему имели приличный вес. Благодарность отныне выражали исключительно в денежном эквиваленте – собственно, только это и изменилось. Новая директриса не была бессребреницей, как ее предшественница, но все же вела себя осторожно, потому поручила решать эти тонкие и вязкие вопросы опытной Еве. И та опять стояла у руля, уже фактически легально. С новой директрисой у нее установились крепкие деловые и даже приятельские отношения. Обе зависели друг от друга, и обе ценили друг друга. В общем, этот дуэт состоялся и был вполне успешен.

Еве было уже слегка за пятьдесят. Годы, конечно, не обошли стороной и ее, но она по-прежнему выглядела как сухая, поджарая, энергичная и еще очень и очень интересная дама. Теперь она появлялась на семейных торжествах в роскошных, до пят, шубах, периодически меняя их и опять раздражая окружающих. Ей опять мыли кости, обсуждая и ее наряды, и сумочки по триста долларов, и дорогих косметичек, и круизы по морям и океанам.

Теперь ее называли Ева Непотопляемая. Все так же она была в курсе последних книжных новинок и театральных премьер, знала лучшие рестораны Москвы, делилась впечатлениями о поездке по скандинавским фьордам и святыням Земли обетованной. Любила общаться с молодежью – жажда жизни и интересы их вполне совпадали. Кастрюли, дачные участки и внуки не были Евиной темой. И к тому же у молодежи к ней не было зависти, а были только восхищение и восторг. Да и чему завидовать? Стройной фигуре? Мы и сами еще вполне стройны. Деньгам? Да и мы зарабатываем совсем неплохо. Путешествиям? Так у нас вся жизнь впереди. Это вам не кумушки-ровесницы, замученные болезнями, мужьями, нехваткой денег, вредными невестками и непослушными внуками. Они – все вместе, а она, Ева, – отдельно, особняком. Но разве она лучше нас? А вот ведь сумела. Выходит, права по всем пунктам. Признать это было нелегко. Признать – это значит перечеркнуть свою жизнь. Бились-колотились – а ни сил, ни здоровья, ни благодарности. И Еве опять завидовали.

Но тут случилось непредвиденное. Ева вдруг как-то выпала из плотного круга частых семейных торжеств, стала игнорировать юбилеи и даты. Перестала часами висеть на телефоне – говорила коротко и отрывисто, явно нервничая. Все поняли – что-то случилось. И вскоре опасения подтвердились. Наша железобетонная леди смертельно и безоглядно влюбилась. Лебединая песня. Понять можно, а вот принять это было сложновато. Все дело было в объекте.

Объект был явно недостойный. Звали его Анатолий, но его тут же окрестили Толяном, и это звучало как кличка. Был он учителем физкультуры в Евиной школе. Лет ему было слегка за тридцать. Внешне классический физрук – высок, широкоплеч и довольно красив простой, примитивной и лакейской красотой. Туп Толян был непроходимо. Дурацкие прибаутки, идиотские, пошлые анекдоты, смех без видимых причин, понятный только ему. Ева, конечно же, все понимала, но справиться с собой, видимо, не могла. Толян был легализован и вскоре введен в широкий семейный круг.

В общем, случилось то, чего Ева не делала никогда. И общественность опять оживилась. И забурился вокруг Евиного имени океан слухов, осуждения и порицания. А ей было на все наплевать. Отлично понимая, что все отнюдь не комильфо, она постаралась и, что смогла, поправила. Толяна пообтесала, придела, сняла толстую золотую цепь с могучей шеи, отвела к хорошему парикмахеру, научила есть с ножом и вилкой. Вся эта нелепая конструкция по-прежнему выглядела как мать и сын, но теперь смотрелась более благопристойно.

Была ли Ева влюблена в него? Или это была просто последняя женская блажь, нелепый и неудобный последний всплеск гормонов, нереализованные, дремавшие покуда материнские чувства, боязнь неумолимо приближающейся старости и одиночества? Кто знает, но факт оставался фактом – Толян был приведен в относительный порядок и признан официально.

На свой пятидесятипятiletний юбилей Ева собрала гостей. Подтянулись, конечно же, все – то-то будет развлечение. Вот повеселимся! Ева выглядела помолодевшей и смущенной. Гладкая голова, тщательно подведенные глаза, темный лак на ухоженных руках, крупные серебряные кольца в ушах, черная шифоновая туника поверх узких атласных брюк, сигаретка в углу рта. Толян услужливо раздевал гостей в маленькой прихожей, видимо, был хорошо проинструктирован. С праздничным столом Ева, как обычно, не заморачивалась – жареные куры, красная и белая рыба, икра в хрустальной розетке, овощи, фрукты. К чему возиться, тратить время, портить маникюр? На десерт Ева подала апельсины, нарезан-

ные колесиками и присыпанные сахарной пудрой и корицей. Кофе и конфеты. Физические затраты минимальные, а, черт возьми, вполне изысканно.

Иногда, отвлекшись от беседы с кем-то из гостей, Ева бросала тревожные взгляды на Толяна. Ее беспокойство было понятно. Толян, уже сильно набравшись, развлекал по праву хозяина молодежь. Рассказывал пошлые анекдоты, от которых сам ржал громче всех, травил утомительные байки об армейской жизни, прихватывал за талии гостей женского пола, интимно обращаясь к ним «лапуль». Это был своего рода аттракцион. Все веселились, а Ева явно страдала.

Постепенно схлынул народ постарше – тяжело вздыхая. А вот молодежь продолжала веселиться. В центре веселья был неутомимый Толян. Ева сидела в кресле, устало прикрыв глаза. А спустя пару часов она обнаружила в темной ванной комнате – просто зажгла свет и дернула дверь – свою двадцатилетнюю племянницу Лариску с Толяном в весьма однозначной и недвусмысленной позиции.

Ева била Толяна по морде узкой и сильной рукой – наотмашь. Пьяная Лариска сидела на краю ванной, икая и рыдая. Скандал, конфуз, а вы чего хотели? У Евы начались истерика и сердечный приступ, кто-то из родни даже вызвал «Скорую». Поднялась суета. Чудес на свете не бывает, из хама не сделаешь пана, свинья грязь найдет и так далее и тому подобное. Конечно, умом понимала, что расплата неизбежна и отчаянием, и стыдом, но...

Все пошло прахом – репутация, имидж, ее солидное положение. Сначала Еву жалели, а спустя время начали злорадствовать. Но она взяла себя в руки и попыталась «держать лицо» – напился молодой мужик от волнения, с кем не бывает. Виновата, конечно, Лариска. С этой оторвой давно всем все ясно. Все ждали финала. А финала не было. Толян по-прежнему жил у Евы и был тих, как украинская ночь. Мыл посуду, пылесосил и подавал кофе Еве в постель. Она была с ним строга, но спустя какое-то время простила – видимо, ничего с собой поделать не могла.

В общем, наступило затишье. Перед бурей. Буря явилась в образе бестолковой шалавы Лариски. Спустя три месяца. Поддатая Лариска колотила ногой в обитую дорогим дерматином Евину дверь. Соседи грозили милицией. Но той все было нипочем. Ева открыла ей дверь. Лариска села на кухне в грязных кроссовках и куртке – раздеться ей не предложили. Рыдая, рассказала Еве про свою неприятность: она была беременна. Толян трусливо прятался в комнате. Ева молча курила.

– Чего ты хочешь? – наконец спросила она.

Лариска зарыдала еще громче. Ева вышла в комнату, открыла секретер и достала деньги. Потом она зашла на кухню и протянула Лариске пятьсот долларов.

– Уйди с глаз долой и сделай аборт в хорошей клинике, – безглаголиво сказала Ева.

Лариска тупо смотрела на деньги, а потом заверещала в голос:

– Откупиться от меня хотите? Как бобику дворовому, кость кинуть? Не выйдет у вас ни черта. Рожу вам назло. Сама бездетная и хочешь, чтобы и я такой осталась? Хрена вам, а не аборт! Буду рожать, чтобы вы все усрались!

Лариска гордо развернулась и хлопнула дверью. Посыпалась штукатурка.

Ева устало опустилась на стул. Потом она зашла в комнату и кивнула Толяну:

– Ну что, папаша недоделанный? Пospешай жениться. Семью создавать.

Толян испуганно молчал.

– Собирай вещи! – крикнула Ева. – И вали к невесте. Достал, придурок!

Деваться ему было некуда – у Лариски была своя комната на Соколе. Все лучше, чем общага в Одинцове, пять коек в комнате. Хотя у Евы, конечно, было сытнее.

Как у них там с Лариской сладилось, Ева знать не хотела. Ей надо было вытаскивать себя. Она взяла отпуск и укатила в круиз по Европе. Теперь ее опять зауважали. И снова называли Ева Непотопляемая.

Вернулась она аккуратно к Ларискиным родам – так получилось. Лариска родила девочку – недоношенную, слабенькую. Прогнозы врачей были далеко не оптимистичны. Толян появился в роддоме однажды – и, услышав про проблемного ребенка, свалил тут же, одним днем, прихватив с собой в Ларискином чемодане весь свой гардероб, с любовью составленный Евой.

Забирать Лариску из роддома было некому. Отец ее, двоюродный Евин брат, давно умер, а мать жила в Минске с новой семьей. Желающих участвовать в этой истории не нашлось, да и сочувствующих Лариске – тоже. Кроме Евы. Она и купила приданое ребенку, и забрала Лариску из роддома. Ева прикипела сразу и всем сердцем к Ларискиной дочке. Что тут было – чувство вины, любовь к отцу ребенка, жалость к ней и к ее непутевой матери, женская тоска? Видимо, всего понемножку – а в результате Ева наезжала к Лариске через день, часами торчала в детских магазинах, скупая мешками ползунки, шапочки, пинетки, бутылочки и игрушки.

Лариска принимала все как должное. Да и сам ребенок интересовал ее слабо.

– Ты, все ты! – кричала она Еве. – Ты должна была заставить меня сделать аборт от своего ублюдка. Вы сломали мне жизнь, сгубили молодость, лишили свободы. А сейчас замаливаешь грехи, добренькая какая! На черта мне это говно! – пинала Лариска ногами тяжелые пакеты с продуктами, стоявшие в прихожей.

Ева не отвечала. Она молча разворачивала мокрую девочку, гладила худые бледные ножки, протирала маслом складочки, стригла крохотные ноготочки и мягкой гребенкой соскребала корочку с головы. Делала она все это с тайным восторгом и упоением – боялась обнаружить свою страсть к младенцу. А Лариске было все равно. Пару раз она не явилась ночевать, и Ева, пристроившись на узком диване, клала возле себя спящую девочку и смотрела на нее с умилением и нежностью, боясь шевельнуться, тихо дотрагиваясь до нежной кожи ребенка и вдыхая молочный аромат новорожденной.

Развивалась девочка плохо, какое уж там по возрасту! Головку почти не держала, погремушку не хватала, сосала из бутылочки кое-как – быстро уставала. Ева вызывала профессоров из Семашко, оплачивала лучших массажисток. Толку чуть, слезы. А к году был поставлен страшный диагноз – ДЦП. Ходить будет вряд ли, дай бог, чтобы сидела и держала ложку.

Отчаяние и горе Евы были беспредельны. А беспутная мать и вовсе вскоре сбежала, написав прощальную записку – от ребенка она отказывается, и Ева может распоряжаться им по своему усмотрению. Хочешь – сдай в Дом малютки, хочешь – мудохайся сама.

Но для Евы случившееся стало абсолютным и безграничным счастьем. Она воспрянула, оживилась и, как всегда, начала действовать. С бумажной волокитой была куча проблем, а главная – Евин возраст. Но тут сработали мощные связи и, конечно, немалые деньги. Вопрос был решен. Еву опять обсуждали: кто-то объявил ее окончательно сумасшедшей, а кто-то – святой. Видимо, дело было не в том и не в этом. Просто раскрылась нерастратченная женская сущность и отогрелась одинокая душа.

Ева ушла с работы и в помощь наняла опытную няню из медсестер. Теперь она знала лучшие центры по лечению ДЦП, часами сидела у компьютера и изучала то, что делалось в профильных центрах и больницах за границей, списывалась с опытными матерями больных той же болезнью детей, знала наперечет лучших специалистов и светил. Биться она решила до конца – денег и сил, слава богу, пока хватало. В каждой оправданной борьбе есть безусловный смысл и победы.

Сначала сдвиги были крошечные, миллиметровые, заметные только Еве и ее верной помощнице. А к пяти годам девочка начала ходить сама, покачиваясь на тонких, неустойчивых ножках, чистила зубы, ела вилкой, надевала одежду на куклу и складывала немудреные пазлы.

А потом Ева решительно и твердо переориентировала свою жизнь. Сделала, как она считала, необходимый и единственно правильный шаг. В июне она уехала в Крым, в маленький приморский городок, каких оставалось совсем мало. Тщательно обследовала условия и местность, нашла крепкий небольшой кирпичный домик в три комнаты с палисадником и виноградником недалеко от моря. Оставила задаток и вернулась в Москву. В Москве она тоже разобралась со всем лихо и быстро – квартиру свою продала, а мебель и посуду отправила в Крым медленной скоростью. Простилась со всеми и укатила с девочкой в Крым. Сумасшедшая Ева, Гениальная, Непотопляемая Ева! Говорите что хотите. Так круто поменять свою жизнь!

Я бы так не смогла. У меня бы нашлось как минимум десять причин, чтобы не совершать решительных действий. У нее получилось. Она умела подстроить эту жизнь под себя. Меня же подстраивала сама жизнь. Впрочем, не меня одну.

Увиделись мы через четыре года. Сама Ева изменилась мало – только почти совсем поседела и чуть-чуть поправилась. Мы сели за темный дощатый стол в саду, и Ева налила нам прошлогоднего вина. Потом она резала в керамическую миску крупными ломтями огромные розовые помидоры и сладкий бордовый крымский лук. Я смотрела на ее руки – по-прежнему сильные, прекрасные, с хорошим маникюром. Ева поставила на стол тарелку с брынзой, зелень и ноздреватый серый местный хлеб. Что может быть вкуснее? Девочка сидела с нами за столом, ела крупный персик, с которого капал сок, и ладошкой вытирала подбородок. Потом она слегка спорила с Евой, кто будет накрывать чай. Затем девочка вздохнула, рассмеялась и пошла на кухню.

– Какая красавица! – сказала я.

– Что ты! – горячо подхватила Ева. – А какая умница! Мы с ней уже Чехова всю читаем, – с гордостью и блеском в глазах ответила она.

Девочка и вправду была хороша – тоненькая, но какая-то крепенькая, сильно загорелая, синеглазая, с легкими пепельными короткими кудрями. Чуть прихрамывая, она принесла на стол чашки, печенье и фрукты и так же важно удалилась опять на кухню.

– За орехами, – объяснила она.

– Чудная какая! – похвалила я ребенка. – Не жалеешь, что уехала? – спросила я Еву.

Она покачала головой:

– Ни минуты, да и потом, ты же видишь, – она кивнула в сторону летней кухни.

Кстати, девочка называла ее Евой. Просто Евой и на ты.

Вот так. И какая, в принципе, разница, кто кому кем приходится и кто кого как называет. Разве дело в этом? Дело совсем в другом. И мы с вами это знаем наверняка. И меня посетила мысль, что я вижу перед собой довольно редкое явление – двух абсолютно счастливых людей. Что и требовалось доказать.

## Внезапное прозрение Куропаткина

Куропаткин смотрел в окно и грустил. Точнее, печалился. В последнее время жизнь все чаще показывала Куропаткину дулю. Нет, все понятно – в стране снова кризис, бизнес погибает не только у Куропаткина, все жалуются, скулят и ноют, но все же от этого лично ему не легче никак. Да если бы только бизнес! Все как-то не складывается, по всем, как говорится, фронтам и азимутам. Инка совсем обнаглела – теперь стало окончательно понятно, что ласка и нежность у таких, как его жена, проявляется только при полном материальном благополучии. Когда все в шоколаде. Короче, когда хреново, не жди никакой поддержки. А он, дурак, все еще ждал. Матушка посмеивалась: «Миленький мой, какой же ты дурачок! Ведь я говорила. Инка твоя – до поры. Черненьким не полюбит, и не надейся!»

Надо признать, что матушка – женщина умная. А он, Куропаткин... Снова дурак. Про его благоверную матушка всегда говорила правильно. Та не нравилась ей никогда. Вердикт был вынесен сразу – капризная, избалованная, ленивая и очень охоча до денег.

Матушка – женщина умная, опыт большой. И чего было ее не послушать?

Когда сходились, Куропаткин матушку слушать отказывался. Да и кто кого слушает, когда всюду горит? От Инки балдел и тащился. Оно и понятно – красивая баба, очень красивая. Высокая, стройная, ноги там, грудь. Ох, эти ноги! Болван Куропаткин. Кто в тридцать семь смотрит на ноги? Только дурак! Нет, смотрят, конечно, все. А вот в жены умные люди берут не по ногам. На характер смотрят, на домовитость. На скромность.

Теперь, говорят, даже секретарш богатые люди берут на работу не по ногам. Время такое настало – время умных.

А он балдел, когда они с Инкой шли рядом. Просто от гордости перло. Такая баба и – только моя!

Ну, и так далее – в смысле интима. Тут она тоже... В смысле – ему показала. Где раки зимуют. И он опять обалдел. Такая женщина, бог ты мой! И снова рядом со мной!

Короче, увел Куропаткин Инку от мужа. Купил в ипотеку квартиру. Неслабую, кстати. Три комнаты, холл, обеденная зона и два туалета. Сделал ремонт – тоже нехилый. Ну и привел любимую. Любимая осталась довольна – только вот не одобрила мебель. Пришлось заказать новую, итальянскую, по каталогам. Снова в долги. Ей, любимой, – ни слова. Пусть спит спокойно и думает, что Куропаткин крутой. Потом поменяли машину – Инка сказала, что хочется джип. Снова кредит. Но ничего – как-то тянул. Бизнес тогда шел неплохо. Нервничал, правда. Ночами не спал – ворочался, мучился, мысли вертелись как карусель. А если, а вдруг? Блин, как накаркал!

Еще Инна Ивановна любила моря летом и горы зимой. Моря – Средиземное, Эгейское, Ионическое. Ну а горы – понятно же, Альпы. Лучше Швейцарские или Французские. Ну, и здесь пришлось поднатужиться. Чего не сделаешь ради любимой? Да! Еще шубки, пальтишки, косметички, педикюри и все остальное.

А что тут скажешь – шикарной дамочке положен приличный уход. Однажды он что-то попробовал вякнуть – ну, типа, попозже. Сейчас трудновато, родная. Прости.

Инна Ивановна бровки взметнула, глазками – сверк, чисто молнии, носик нахмурила.

– Ты что, Куропаткин? Прикалываешься? Ты в чем мне отказываешься? В массаже и в маникюре? Ты спятил? А как я выйду на улицу? Ты об этом подумал? Лахудрой буду ходить? Ты, милый мой, сначала подумай, а потом говори. Я тебя, между прочим, ни разу не обманула. В смысле – потребностей. И никогда не скрывала, к чему я привыкла. А ты теперь жмешься?

Инна Ивановна так расстроилась, что вот-вот заплачет. Носиком хлопнула, и слезки из прекрасных глазок брызнули, как вода из клизмы – чисто актриса! Хотелось захлопать.

– Я, Куропаткин, от мужа ушла! К тебе, между прочим. Ушла от прекрасного человека! Щедрого, кстати. Уж он никогда – никогда, Куропаткин, – мне не сказал, что я много трачу. И я, Куропаткин, не шубу новую у тебя прошу. А, кстати, могла бы. Моей уже целых три года. Забыл? И не машину. Хотя ей, старушке, тоже лет двести. И не остров в океане. Ты, Куропаткин, не видел других. Такие есть бабы. Не то что я, скромница.

Сказала про этих баб с каким-то скрытым восторгом и завистью. А может, ему показалось?

«Слава богу, – подумал Куропаткин, потя спиной, – мне и тебя, королевны, хватает. О, как хватает, по самое горло. Скромница, блин!»

Все – про себя. А вслух усмехнулся. Это – про первого мужа, щедрого и прекрасного. Ну, тут вообще смех. Первый муж Инны Ивановны был человеком пьющим и ненадежным. Деньги водились, но к первому пороку присовокуплялся второй – «прекрасный и щедрый» играл. В казино. Ну, здесь все понятно – такие штуки до добра не доводят. Пришлось продать роскошную квартиру, пару машин, да и брюлики свои Инна Ивановна частенько носила в ломбард. Всяко было. И разное – Куропаткин потерей памяти не страдал. В отличие от прекрасной и сказочной Инны Ивановны.

А вот любимую память частенько подводила. От расстройства и нервов, наверное. Такое бывает от стресса – частичное выпадение памяти, амнезия называется.

Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Поздно. Потому что был еще сынок. Ванька. Такой пацан, что... В общем, у Куропаткина сердце падало, когда Ванька его обнимал.

Да и тянуло его к Инке не меньше, чем раньше. А даже, наверное, больше. Как говорится, чем больше вложишь...

В общем, тянул Куропаткин, как мог. Из последних оставшихся сил. Чтоб сохранить достойный уровень жизни. И чтоб благоверная мозг не выносила. Ну, и чтоб у сыночка, у Ваньки, все было.

– Ты же отец! – говорила жена. – Ты же мужчина! А в мужчине главное – это ответственность.

Матушка злобилась и невестку еле терпела. Тоже только из-за внука. А так, говорила, баба никчемная. «Ни о чем», как сейчас говорят. Ни украсть, ни посторожить.

Куропаткин вяло отмахивался и мамашины выпады терпел молча. Понимал – права. А куда денешься?

– Я ее, мам, люблю, – говорил он, – а уж про Ваньку что говорить!

Матушка махала рукой – безнадежно.

– Ты всегда, Коля, был извращенцем. Никогда хороших девушек у тебя не было. Всегда тебя тянуло к ярким леденцам. Без обертки. А без обертки они замусолены чужими руками.

А теперь все было совсем плохо. Бизнес катился с горы. Да так быстро! Кредиты жали, держали в тисках. Как конец месяца – у Куропаткина аут. Лежит и глядит в потолок. А любимая злится. Злобится, чашки швыряет. Так глянет – ну, застрелиться.

Все понимал, теперь уже все. И еще понимал, что от Ваньки он не уйдет. Никогда. А если уйдет? Что решится? Что переменится? Кредиты его не закроют. Долги не простят. Проблем за него не решат. И не пожалеют его, дурака. Ну, если родная жена не жалеет...

А тут еще эта стерва Полина. Его секретарша и главный помощник. Боевая подруга. Сама говорила – мы с тобой, Николай, навсегда. Уж я тебя никогда не подставлю. И вправду, столько вместе соли съели – стали родными. А тут? Стала требовать, дура, прибавку к зарплате. В нынешние-то тяжкие времена! Ну, поругались, поорали, и он ей бросил:

– Не нравится – двери открыты!

Сказал сгоряча, все понятно. А эта засранка? Вещички в пакетик сгребла – и к двери. А у двери обернулась и гнусно хихикнула.

– И поделом тебе, Куропаткин. Лох ты педальный. Правильно Инка твоя говорит. И дверью – бац! Как по мозгам.

Дрянь. Конечно, стерва. Какая стерва! А самое обидное – что Инку сюда приплела. Знала, что больно. Но без нее стало лихо. Совсем. Ковыряется Куропаткин в бумагах и путается. Все контакты у Полины в ее телефонах, все клиенты.

И понял Куропаткин, что пропадает. Совсем. Окончательно.

Что делать? Идти на поклон? Увеличить зарплату? С чего? Звонить этой дуре и умолять о прощении? «Ох, бабы! – горестно думал он. – Совсем вы меня замотали. Достали совсем. Все вы... одним миром мазаны. А может, действительно я извращенец? Может, матушка права?»

Сделал подборку из прежних и охнул – точно! Все, что были до Инки, – как на подбор. Из себя ничего, с ногами и сиськами, а вот со всем остальным... дело плохо. Все капризничали, требовали подарки, мелко торговались и крупно хамили.

Ни одной ведь не было другой! Ну, тихой, милой, скромной. Глаза в пол. Чтоб пожалела, ну, въехала чтоб! Не нравились такие Куропаткину. Не его сексотип. Совсем загрустил.

За окном накрапывал дождь. Мелкий, противный. Колкий, наверное. Он даже поежился – бррр!

Чертova осень. Под стать настроению.

И снова затосковал. Так захотелось в тепло. На горячий песочек, под нежное солнце. Лечь и забыться – под тихий шум волн. И чтобы никто – вот никто – не просил и не требовал. Ничего!

А просто его бы любили. Просто любили и просто жалели. Или хотя бы сочувствовали.

Но – не видеть ему белого песочка и не слушать прибой еще долго. А может, и никогда.

Куропаткин вышел в приемную (громко, конечно, сказано – весь офис тридцать квадратов вместе с приемной) и попробовал включить кофемашину. Тыркался, дергался. Черты-хался. А не получилось. Запорол целых три капсулы, обжег руку паром и громко выругался – совсем неприлично.

Потом открыл ноутбук и дал объявление. О приеме на работу секретаря. Ну, и требования всякие. Что, в общем, понятно.

Потом надел плащ, щелкнул выключателем, запер дверь и вышел вон. К черту все. К черту! Вот поеду сейчас и напьюсь. К Мишке Труфанову, старому другу, он не откажет – он по этому делу любитель. Ну, и еще потрындеть по душам. Про баб и про жен. Плюс политическая обстановка в стране и в мире. Кризис, дефолт и кредит. Обычные темы мужских разговоров.

Он зашел в лифт, достал мобильник и набрал Труфана. Тот ответил не сразу, видно, только проснулся. Потом оживился и даже обрадовался.

– Приезжай, Колян. Побалдеем! Только, – замаялся Мишка, – жрачки возьми. У меня – ни черта. Полный голяк, мышь повесилась!

«Это и так понятно, – подумал Куропаткин, – подумаешь, новости!» Мишка был отъявленный, закоренелый и идейный холостяк. И еще, наверное, умница. Ну, раз так сумел распорядиться. Своей личной жизнью.

И своей личной свободой.

Труфан по жизни не напрягался – радовался тому, что имеет. А имел он крошечную однокомнатную квартирку в Беляеве, оставленную покойной бабулей, и непыльную работенку – составлял на дому дешевенькие, тыщи по полторы, юридические договоры частным лицам.

И ему, представьте, хватало. На колбасу, дешевый коньяк и китайский ширпотреб в виде байковых клетчатых рубашек, джинсов и кед. Труфан был неприхотлив и жизнью доволен. Периодически у него вспыхивали короткие и бурные романы со странными, не первой свежести, некрасивыми и часто замужними тетками.

Труфан не был эстетом. Уверял, что замужние бабы горячи и заботливы – кто супчику сварит, а кто и пирожков напечет. И в сексе торопливы и благодарны. Что, собственно, и надо Труфану. И самое главное – не задерживаются. Поделали дел – и домой, к муженьку. К мужу и деткам.

Спешат!

Когда-то Труфан подавал большие надежды – окончил юрфак, и все дороги ему были открыты: папа Труфанов был большим адвокатом. Но подергался Труфан, подергался и выбрал свободу.

Однажды друг детства Куропаткин спросил:

– А ты любил когда-нибудь, Мишка?

Труфан на минуту задумался и почесал лохматую и давно не стриженную башку.

– Да нет, пожалуй. Пожалуй, что нет, – медленно повторил он и тут же оживился: – А кого, брат, любить? – Потом горестно вздохнул и добавил: – Нет ведь достойных. Приглядишься – и нет!

Почему-то обрадовался своим выводам, вероятно найдя объяснение.

– Совсем? – недоверчиво уточнил Куропаткин. – Что, ни одной? И ни разу?

Мишка медленно покачал головой:

– Лично мне такая не попадалась. – Потом прищурил узкий и хитрый глаз и ехидно добавил: – И тебе, друже, по-моему, тоже!

Куропаткин хотел горячо возразить, но... воздержался.

Мишка стоял на пороге – лохматый, с нечесаной бородой, в ретротренниках с пузырями – и внимательно разглядывал друга. Потом тяжело вздохнул и промолвил:

– Ну... все понятно.

– Чего понятно, экстрасенс хренов? – окрысился гость. – Давай ставь картошку!

Мишка снова вздохнул, принял пакеты и поплелся на кухню.

Это был ритуал – вареная картошечка с маринованными огурчиками, колбаска в нарезку и, разумеется, водочка.

Мишка усердно чистил картошку, попыхивая сигаретой в углу пухлого рта, и что-то мычал – типа, песню.

Песни Мишка любил комсомольские, из советского детства. «И Ленин – такой молодой, и юный Октябрь впереди» – эта была самая любимая.

Еще была такая: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» Страны давно не было, а песня осталась.

И еще была: «Слышишь, время гудит – БАМ!» Этот БАМ – Байкало-Амурская магистраль. Стройка века. А не просто вам – БАМ – бам.

Куропаткин сел на табуретку и огляделся. Свинарник. Боже, какой же свинарник! Ну, чокнуться просто. И даже снял локоть с липкой клеенки. Кошмар!

Правда, удивился – не было грязной посуды. Совсем. Обычно – гора.

– Моешь посуду? – спросил он у друга.

– Не-а! – ответил друган. – Пользуюсь пластиком. Очень удобно. Сказка прям. Пожрал, в ведро, и – свободен.

Куропаткин поморщился – гадость какая! Как на первых шашлыках в парке у дома в начале мая. Картошка уже закипала, и Мишка стал накрывать на стол, приговаривая:

– Колбасочка сладенькая. Та-аак, улеглась. Огурчики... ух, хороши! В пупырях! Суппротив. Сальцо. Сказка прям, а не сальцо. Главный продукт! Черняшечка, редисон. Стакашечки – стакашки! И – приборчики! – завершил он и победно оглядел плоды своего труда. – А? Красота? То-то, милай! – продолжал «придурствовать» он.

Ну, и присели, как говорится. А дальше – поехали!

– Пошла? – с беспокойством хозяина встревожился друг.

Куропаткин кивнул:

– Пошла. Хорошо!

Ну, и под картошечку, да под сальцо, да с огурчиками в «пупырях» – пошло не просто хорошо, а пошло замечательно. Со счастьем в глазах и в желудке.

Потом вспоминали детство и школу – это был обычный, до боли знакомый и заезженный ритуал, который им не надоедал никогда – дружба детства, она, знаете ли...

А дальше Куропаткин разнюнился. Поведал про бизнес, про кризис и Инну Ивановну. Добавил про Полинкин уход и расстроился окончательно. Просто раскис, как дитя без мягкой игрушки. Хоть плачь.

Мишка молчал, тяжело вздыхал, кивал и подкладывал другу картошечки.

А потом дал совет – как с плеча рубанул:

– А пошли ты их всех, Колян. Одновременно. Всех разом!

– Кого – всех? – не понял Колян. – В смысле – кого? – уточнил он. – Нет, ты объясни.

– Да всех разом! – упрямо повторил Мишка. – И в первую очередь – мадам Евсюкову.

Инну Ивановну он всегда называл Евсюковой – по девичьей фамилии. Так он демонстрировал свою нелюбовь, не желая отдавать ей фамилию лучшего друга – недостойна, типа того.

Ненависть у них была взаимная и долгая. Ну, антиподы, понятно. Только Куропаткин поносить друга детства не разрешал – все разрешал, а это – ни-ни! Это – святое! «А если я начну про твою Кристину и Яну?» – желчно осведомлялся он, вспоминая лучших подружек жены.

– Ага, – кивнул Куропаткин, – с этим понятно. В смысле – с этой. А дальше? Следующий кто, Ванька?

Мишка развел руками:

– Ну, Ванька тут ни при чем. Это я так, к слову.

– Ну и заткнись! – невежливо посоветовал Куропаткин. – Не тебе говорить. Ни жены, ни детей! – зло добавил он.

А Труфан обижаться не думал.

– Вот-вот! И именно поэтому я и имею право, – стал настаивать он. – Пошли – и начни новую жизнь. И ты меня вспомнишь!

– А как? Не подскажешь? – начал горячиться Куропаткин. – Советчик хренов. Забить на долги, да? На кредиты забить? На Ванькину школу? На теннис? На море забить? А у него, у Ваньки, простуды! Если без моря весь год, понимаешь? Ему море... как воздух. Усек? Матушке не помогать? А как она будет – на пенсию? Бутылки сдавать? Нет, ты ответь. Объясни, мне, дураку. Если ты такой умный...

Мишка надулся и замолчал.

– А чего приперся? Ты вроде совета просил? Или я ошибаюсь?

– Ошибаешься! – жестко отрезал Куропаткин и хлопнул ладонью по хилому старому кухонному столу. – И совета, я, кстати, у тебя не просил. Просто приехал как к другу. Душу излить. Что, нельзя? Нельзя, получается? – всхлипнул он.

– Можно, Колян, – мягко ответил Мишка и осторожно постучал рукой по плечу друга. – Конечно же, можно. А в остальном – удачи, друган! Каждый выбирает по себе, Коля. Женщину, религию, дорогу...

Умник! Ах, какой умник! Левитанского цитирует. По себе, да. И ты, друг детских игр и забав, выбрал тоже по себе – так выходит? Срач, в котором живешь. Помойку в вонючем холодильнике. Баб своих сумасшедших и, мягко говоря, некрасивых. Отсутствие детей – от них ведь один геморрой, да, Мишань? И моря-окияны тебе не нужны, и берег турецкий. Забуришься на месяцок в глухую деревню, в кособокий домишко, и там тебе радость и счастье. Разная жизнь у нас с тобой, Мишка. Разные потребности. Но все это не отменяет моей любви к тебе. И такой же огромной привязанности...

Домой Куропаткин решил не ехать – позвонил Инне Ивановне.

Жена фыркнула в трубку что-то типа: понятное дело. Слились в экстазе два алкаша.

И трубку бросила.

«Ну и черт с тобой, любимая, – пробурчал Куропаткин, рухнув на диван. – Черт с тобой!»

Минут через пять он уснул. Устал человек, все понятно.

Мишка Труфанов еще долго сидел на кухне, курил «Беломор» и смотрел в темное окно.

«Такая вот жизнь, – потянуло его на философию, – хреновая. Хороший мужик Колян. Ответственный. Толковый. Отец замечательный. Муж. Налево не ходит, особо не пьет. Все в дом, все в семью. И результат? Где она, эта семья? Где жена, верный друг и соратник? Та, которая пожалеет, поймет? Ау! Нету – ни разу нету. Тянет с Коляна бабло – использует. Противная баба эта Евсюкова. Ох, противная! Мелкий человек, несерьезный. И еще – ненадежный. Хотя красивая, да. Фактурная очень. С такой – хоть в Канн на красную дорожку, хоть в Елисейский дворец. Но туда Куропаткина не зовут. Почему-то. А значит, достоинства Евсюковой ему ни к чему».

Мишка тяжело вздохнул: «Эх, Коля, друг детства! Растила тебя мама, тянула. Себе во всем отказывала. Бассейн, дзюдо, аккордеон. Копейки считала. Чтобы ты стал человеком. А тут – Евсюкова! И все, кранты. Нет человека, и нет мужика. Есть конь на пашне со старым плугом, выюнный осел с бурдюками и тупейший баран. И все это она, Евсюкова! Вот вам наглядный пример – как дурная баба может погубить хорошего мужика».

Мишка высыпал пепельницу, доверху полную бычариков, убрал в старенький «ЗИЛ» остатки колбасы и пошел в комнату – спать.

Долго не мог уснуть – воспоминания накрыли его с головой. И все про Коляна. Вспомнил он Катю Баленко, первую любовь Куропаткина. Красивая, да. У него и не было других. Только противная. Капризная, с вечно надутыми губами. Ныла всегда – то жарко, то холодно. То попить, то поесть. Колян суетился вокруг нее, как юла. Работать пошел на каникулах – купить Катечке ценный подарок. Заработал двести рублей и – давай покупать! Духи у спекулянтов, джинсы и золотую цепочку. Все в пакет и – на, любимая! Это тебе!

Та пакетик открыла, узким носиком повела и сделала – фи. Духи слишком бабские, душные – ей такие не нравятся. Джинсы малы. А цепочка – дерьмо. Плетение ей не то, видите ли! Ну, и как? Стоит Куропаткин, словно дерьмом вымазанный, и страдает. Бледный, расстроенный. Жалкий.

Слава богу, эта дура Баленко его бросила – нашла какого-то хмыря из МГИМО. Колян отстрадал и снова влюбился. И снова... Ох, да что говорить. Беда. Опять с Коляном беда. Следующая. Ксюша, юбочка из плюша. Да уж, из плюша, как же! На шмотках была просто повернута, все друзья – спекулянты. И снова-здорово: «Колечка, хочу джинсики голубые! С вышивкой! Курточку кожаную, зелененькую! Юбочку под курточку, тоже из кожи...»

В общем, как говорится... А этот дурак? Давай зарабатывать бабки! Чтoб Ксюшу эту чертову ублажить. Чуть из института не вылетел – так увлекся. Стал с долларами крутиться. Мать его еле тогда отмазала, а мог загреметь. Сколько мамаша его тогда денег назанимала – море! Чтобы вытащить своего дебила. Потом отдавала долго, лет пять.

Он, конечно, притих. Испугался. А через полтора года – опять за свое. Сошелся с одной певичкой. Никому не известной, конечно. В кабаке каком-то пела. Дерьмовом, надо сказать. На рабочей окраине. И снова – красавица. Загулы любила – аж подметки летели. За ночь пять кабаков объезжали. Выпивала за ночь три бутылки шампанского. Или четыре – ну, как пойдет. И сразу в кураж. Много там чего было – гости с Кавказа, фарца, бандюганы. Ну и драки, конечно. Дурню этому Куропаткину то лицо разобьют, то руку сломают.

Замуж потом вышла за скандинава какого-то. А Куропаткин снова в страдания! Говорил, что не хочет жить. Очень боялись они за него тогда, очень. Матушка его даже в больницу устроила – в хорошую такую, по великому благу. Клиника неврозов называлась. На Шаболовке.

А Колян, пока здоровье поправлял, снова влюбился. В заведующую отделением. В красивую и не слишком молодую грузинку. Была эта эскулапша похожа на породистую кобылу – крупная, тонконогая, талия тонкая, грудь большая. Глаза огромные, черные – сверкают, горят, словно непотухшие угли, – а мужчин задевает! Замужем, конечно. Муж – человек серьезный и важный. Она все боялась: узнает – пропадем оба. Причем безвозвратно. Концов не найдут. А Куропаткин ее все уговаривал от мужа уйти. Ну не дурак? Забрать двоих дочерей и – к нему. А упаковка у нее была знатная, выше крыши. Хата огромная, «Мерседес» – в те годы-то! Дом где-то во Внукове.

Он, Мишка, тогда у Коляна спросил:

– А потянешь? Ее и детей?

А тот – так беспечно, с улыбкой своей дурацкой:

– Любовь у нас, Мишка! Это ты понимаешь? Любовь!

Ну, тогда снова подключилась умная и несчастная Колькина мать. Пошла к солидному мужу и посоветовала ему «держатъ свою сучку на коротком поводке». Иначе – беда будет.

Ну, тот разобрался быстро, в два дня – отправил законную в Потю к своим родакам, вместе с дочурками.

А там – тюрьма, со двора и то ходу нет. Вот пусть посидит и подумает! Пару годков. Или поболее. А ты, паренек, погуляй! А что с тобой делать – подумаю. И радуйся, что мне *так удобно*. Что сразу тебя не зашиб.

А этот дурак хотел ехать за ней, в этот Потю! Вызволять любимую. Украсть и увезти – ее и, соответственно, дочек.

Слава богу, отговорили. Иначе – была бы большая беда. Как пить дать.

Ну, и все последующие романы Коляна были из той же серии, как под копирку. Бабы мутные, отношения бурные, а на выходе – слезы, страдания и пустой кошелек.

И опять спасла мама – услала Коляна в ссылку. От грузинского мужа подальше.

Матушка его бедная уже и не чаяла, что внуков увидит. А тут Евсюкова. Все с ней было понятно, но все же... Хоть поженились и Ваньку родили. А что сын ее, Николай Куропаткин, отменный дурак – так это же ясно всем и давно. Чему удивляться?

И вскоре, опечаленный жизненной несправедливостью, Мишка Труфанов уснул.

Куропаткин проснулся от нечеловеческого храпа – такого мощного и невозможного, децибеллов таких, что он от испуга подскочил на кровати.

– Труфан! – позвал он лучшего друга. – Проснись, хрен моржовый!

Крикнул громче – реакции ноль. Подошел к Мишке и дернул пару раз за руку и за ногу. Перевернул Мишкину тушу на правый бок. Храп стал чуть гуманнее, но через пару минут Мишка снова перевалился на спину и зарычал как медведь.

Бесполезно, огорчился Куропаткин, с этим не справиться. Сна больше не будет – это ясно как день.

Он вертелся с боку на бок, вставал, ходил на кухню пить холодную воду, несколько раз посещал Мишкин санузел, не уставая удивляться грязи и свинству кореша.

Снова бухался в кровать и отчаянно ждал рассвета.

Всякие мысли лезли Куропаткину в голову. Всякие. О бренности жизни. О ее несправедливости. О скоротечности – ее же – и о сложности тоже. Думал он и об Инне – с горечью, с болью, с тоской. Думал о маме и сыне – с печалью и нежностью.

А потом вообще в башку полезла всякая ерунда. Всплывали давно позабытые лица, события и прочая хрень. Какие-то незначительные, дурацкие мелочи, о которых и вспоминать-то смешно! Вспомнились и возлюбленные – Катя Баленко, Ксюша. Певичка Лариска. Врачиха Тамара. Это – из тех, с кем было *серьезно*. Серьезно и бестолково как-то – не по-людски, как говорила мать. И, как обычно, оказывалась права.

Потом в памяти стали появляться женщины второстепенные – из тех, с кем бывали просто романы. И тоже, надо сказать, хорошего мало. Куропаткин совсем расстроился – из всех, кого он припомнил, чьи лица сейчас проплывали перед его глазами, не было ни одной стоящей...

Да что говорить! Ничего. Потому...

Потому что *ничего* просто! Фигня.

А под утро, конечно, сморило. В семь зазвонил на телефоне будильник, он нехотя открыл глаза и услышал, как Мишка гремит на кухне.

Мишаня жарил яичницу. От количества желтков на сковородке Куропаткин обалдел. Пересчитал – восемь штук.

– Ну, ты и обжора, – покачал он головой. – Нет, я не буду. В такую рань, да еще с бодуна. Окстись, Труфан! Я вообще утром не ем – только кофе пью.

Мишка развел руками:

– Кофе, брат, у меня не водится – только чай, извини! Могу заварить покрепче, на манер чифирия. Сразу проснешься.

Пришлось согласиться. Пил горький чай и с ужасом наблюдал, как Труфан поглощает яичницу с хлебом. Для интереса подсчитал – восемь яиц, шесть кусков хлеба. Причем с густым слоем дешевого масла.

Вышел на улицу и посмотрел на небеса. Все обложено плотно и густо. Значит, снова не будет солнца, а скорее всего, будет дождь. Ох, и противный же месяц ноябрь! До настоящей зимы далеко, а уж до лета...

Завел тарантас, и снова взгрустнулось. Эх, жизнь копейка! Думал про то, как вечером поплетется домой. Как Инка откроет дверь и обложит его не по-детски. Как Ванька все это услышит и выкатит свои голубые глазенки на нерадивого папу. И вот тогда-то, наверное, и перестанет его уважать.

Он вошел в офис и загрустил еще больше. Без этой чертовой дуры Полины было так пусто, хоть плачь. Обычно Полинка с раннего утра трепалась по телефону. А он, дурак, раздражался! Теперь бы послушал Полинкин треп с удовольствием. Эх... нету Полинки, и нету горячего кофе. И нет свежих булочек из соседней пекарни. Нету. Только тишина, пустота и снова тоска – телефоны молчат.

Мелькнула мысль позвонить этой засранке. Позвонить и сказать: так, мол, и так, Поль, давай друг друга простим и плохое забудем. Столько лет вместе, ну, честное слово! Целых пять или шесть! Столько прошли, мама дорогая, столько, простите, говна съели вместе... Ладно, Поль! Я все понял. Ты не права, конечно, но... придумаем что-нибудь. В смысле бабла.

Подумал и – передумал. А что он может придумать «в смысле бабла»? Когда нет этого бабла и в помине. Просто банально нету, и все. Из чего Польке добавить зарплату? Может, из маминой пенсии?

Снова расстроился, ну, просто до слез. Как вспомнил всех этих... баб своих, в смысле. Жену, секретаршу.

Все из него жилы тянут и веревки выют, все! Все под себя прогибают, словно он не мужик. Не мужик, а тряпка половая.

Ну, а если... найти в себе силы признаться... то так оно и есть, между прочим.

Он зашел в кабинет, открыл ноутбук и проверил почту. Одна ерунда – и ничего по делу. Ничего! Словно всех клиентов слизала страшная тайландская ураганная волна.

Уставился в задумчивости в окно – так и есть, снова моросит мелкий дождь. Из оцепенения его вырвал телефонный звонок.

Он вздрогнул и схватил телефонную трубку.

– Кто? – переспросил он. – Ведяева Дарья? А, по поводу места. Я понял. Ну, что ж, приходите. Когда? А когда вам удобно? Прямо сейчас? Вы здесь, в холле? Ну, поднимайтесь, Ведяева Дарья. Будем на вас «посмотреть».

«Шустрая, – подумал он, – раз – и внизу, прямо в холле. Ну, что же. Посмотрим. Приезжая наверняка». У него абсолютный слух – мама-то дирижер-хоровик. Нездешний акцент он сечет, что называется, с полоборота.

В дверь постучали, и он открыл. На пороге стояла девица. Бледная моль, серая мышь – как там еще?

Он даже поморщился – уж слишком неказистая и незаметная была эта Дарья.

Она тоже вроде как растерялась – стояла, не шелохнувшись, и хлопала серыми, в бледных ресницах, глазами.

– Ну, проходите. – Он пропустил Ведяеву Дарью вперед.

Провел в кабинет, уселся за стол и указал ей на стул.

– Рассказывайте, – не очень вежливо буркнул он, понимая, что Даша эта – не «наша». В смысле ему не подходит. Категорически.

Она дернулась, чуть подалась вперед, побледнела, громко сглотнула в волнении слюну, отчего он поморщился, и начала:

– Ведяева Дарья, – сказала она, – мне девятнадцать. Ну, почти двадцать. Будет в апреле.

– Оставим подробности, – оборвал ее он, – давайте по делу.

Она снова кивнула и снова сглотнула.

– Да-да, безусловно. Окончила курсы секретарей-референтов. Знаю английский – ну, разговорный и читаю. Со словарем, – пролепетала она.

– Опыт работы, – сурово поинтересовался он, – имеется?

Она снова подвинулась к краю, он глянул на стул – не свались, сердешная! Изъерзалась от волнения.

– Нет, – прошелестела она, мотнув головой, – почти нет.

– Что значит – почти? – удивился он. – В каком это смысле?

– Ну-уу, – протянула она, – в смысле того, что я мало работала. Вот. Всего два месяца. Дома.

– Дома – это где? – уточнил он. – Вы откуда?

– Из Энска, – тихо ответила она, – это город такой, на Волге. Точней, городок.

Он откинулся на стуле и кивнул.

– Знаем. Бывали.

Почему-то сказал о себе во множественном числе. Сам удивился.

– Правда? – обрадовалась Ведяева Дарья. – Давно?

Он махнул рукой.

– Да в прошлом веке. В общем, лет двести назад.

Она расстроилась.

– А-а, так давно... Хотя... – она чуть задумалась, – с тех пор, наверное, ничего и не изменилось. Как был медвежий угол, так и остался, – она тяжело вздохнула, словно переживая за свой городок.

– Ну, и? – спросил он. – Что было дальше?

Она пожала плечами:

– Да ничего. Два месяца проработала в одном офисе. Они торговали деревянными поддонами, ну, и всем остальным. А потом прогорели. Закрылись. И все.

Он снова кивнул:

– Ну, все понятно. И тогда вы решили... Рвануть в столицу, я так понимаю?

– Так, – подтвердила она, – просто... там, дома, совсем нет работы. Совсем! Ну, или только в торговле – на рынке или в продуктовом. Платят копейки, – тихо добавила она и покраснела.

– Понятно! – Он вздохнул, встал и прошелся по комнате. – Все едут в Москву. В столицу. Здесь есть возможности, да? – спросил он, уставившись на нее.

Она пожала плечами и неуверенно ответила:

– Ну да... наверное.

– Наверное! – покачал он головой. – Вот именно, что «наверное»! А не наверняка, понимаете?

Она послушно кивнула и опять побледнела.

– Да ничего вы не по-ни-ма-ете! – почему-то разозлился он. – Совсем ничего! Вот смотрите, зарплата секретаря – да? Да! Зарплата. Тысяч двадцать, не больше. Ну, двадцать пять – на крайняк. При вашем досье-то. Без опыта и все остальное. Согласны?

Она смотрела в пол и чуть заметно мотнула головой.

– Итак – двадцать. Ну, пусть для начала, – повторил он. – Ну, пусть даже двадцать пять. Больше, простите, вам не дадут. Из них проесть – минимум десять. И это если совсем экономно – «Доширак», «Ролтон», картошка и макароны. Все. Понимаете, все! Ни фруктов, ни кофе, ни тортика и ни сыра с колбаской. Ну, или там пару раз в месяц, не больше. В день получки, как говорится. Два – жилье. То есть комната, угол. Хотя скорее второе. На комнату вы не потянете. Угол. В лучшем случае у тихой и вредной бабульки койка под вытертым одеялом. Вечером бабулька смотрит все сериалы подряд вместе с ток-шоу. А ночью храпит. И еще вредничает, придирается, дает советы, рассказывает про подвиги жизни и с тоской вспоминает милые сердцу советские времена. Ну как, симпатично? Не правда ли, Дарья? И угол этот убогий вам обойдется не меньше десятки. Ну, или тыщ восемь – как повезет. Если у черта, простите, в зад. И что остается? На пудру, помаду? Мороженое? На кофточки и все остальное? А маме послать, а? Наверное, надо и маме послать?

Она вдруг как-то вся сжалась, окаменела и качнула головой.

– Нет. Маме не надо. Мама... умерла.

– О господи, – сказал он, – ну, совсем плохо. Ну, папа там или бабуля с дедулей. Хотя положение дел это никак не меняет. Вот это важно! Вы будете недоедать, мерзнуть в дешевой куртяшке, промокать в дрянных сапогах, шарахаться от ментов, бояться этого шумного и неприветливого города, терпеть нужду и страдать. Вот я о чем! Вы понимаете? Такие зарплаты – ну, если только для бестолковых москвичек. У которых есть дом и семья. Мама и папа прокормят, ну, а жилье и так есть. Так, на шпильки и сигареты. Этого хватит – если по-скромному.

Она молча кивнула.

– Ну и выводы? – риторически спросил он. – Езжайте лучше домой. Там хоть родня... И квартира.

– Нету родни, – сказала она. – Никого. Папы и не было. Никогда. А дед с бабушкой умерли. Комната есть – в частном доме. С печкой. Колодец на улице. И туалет.

Она замолчала. И он не знал, что сказать. Стыдно было. Стыдно и гнусно. Паршиво, короче. На старые дрожжи, как говорится.

Она молчала и смотрела в окно.

Он, тяжело вздохнув, наконец произнес:

– Ладно, Ведяева Дарья. Оставьте свой телефон. А там – там посмотрим. Может быть, вы и правы: Москва – город возможностей. Неограниченных. Кто знает – может, карьеру сделаете. А может, богатого жениха подберете. Всяко бывает. Чудеса, наверное, все же случаются. Хотя...

Бледная мошь Дарья Ведяева явно обрадовалась и закивала:

– Да-да, конечно! Вот мой мобильный!

Он протянул ей листок бумаги, и она старательно, чуть высунув кончик языка, красивым, каллиграфическим почерком оставила свои координаты.

Он молча кивнул – аудиенция, типа, закончена, и она, поднявшись со стула, медленно пошла к двери.

Там обернулась и тихо и неуверенно сказала:

– До встречи?

Он пожал плечами:

– Как получится.

Она опять побледнела и обреченно кивнула:

– Ну да...

Он откинулся в кресле и стал покачиваться – ага, как же! Карьеру она сделает! Замуж удачно выйдет! Мышь незаметная – зубки торчат, бровки домиком. Здесь, в столице, таких на рубль пучок. А уж красавиц – так тех вообще море. А олигархи слегка в меньшем количестве, надо сказать.

Потом опять загрустил – конечно! А кто придет ко мне на собеседование на такую зарплату? «Зряплату», как шутила его матушка. Хорошие секретари, знаете ли, меньше чем на полтинник не согласятся. Вот и эта сука, Полинка... А что, права! Девка она ловкая, коммуникабельная. Кого хошь уболтает. Покойнику впарит, как говорится. И денег хотела вполне справедливо. Все они справедливые – и Полинка-умница, и Инка-красавица. Все хотят жизни красивой, душистой. Безбедной.

Да и он был бы рад. Нет, честное слово! Да разве ж он отказал бы стерве Полинке? Разве жалел бы на красавицу женушку? Да никогда! Просто... денег-то нет! Банально нет денег. А есть долги и кредиты. Такие дела.

Выпил чаю – к кофемашине боялся притронуться – и лег на диван. Сразу уснул.

Проснулся через пару часов, и снова от телефонного звонка.

Звонила соискательница. Голос противный, писклявый. Визгливый даже: «Скоко-скоко? Двадцать пять? Да вы что, дядя? Сейчас таких получек не бывает!»

Да пошла ты, «получка»! – трубку швырнул со злостью.

Открыл окно – пахло свежестью и холодком. Закурил.

Что делать-то? Что? Как сказать Инке, что дела такие хреновые, что... хоть в петлю. Нет, Инка туда не полезет – она жизнелюбка. Выпучит томные очи, ресничками хлоп и спросит металлическим голосом: а что ты раньше, Коля Куропаткин, думал? Когда женился, сына рожал? Семья, мой дорогой, это ответственность. Большая ответственность! На это спо-

собны только настоящие мужики. Ну, думай, что делать. Думай, Коля! Ты ведь мужик? Или как?

И мерзенько так прищурится. Сразу унизит, растопчет и ноги вытрет. Одновременно.

Он бухнулся на диван и закрыл глаза. Хорошо бы снова уснуть – чтобы хоть пару часов не думать об этом. Но сон не шел. А шли странные воспоминания. Такие странные, что он удивился.

Например – вспомнился город Энск, откуда была родом бледная моль Дарья Ведяева.

Бывал он там лет двадцать назад. Тогда. Матушка его туда услала, от знойной грузинки спасая.

Городок этот... Ну, как все городки средней России – провинциальный донельзя, с кривобокими улочками, с частными домиками. С памятником вождю на центральной площади. Вождь мирового пролетариата был смешным и нелепым – руки ниже колен, кепка в руке, а размер ботинок – тут вообще обхохочешься. Тридцать пятый, похоже. Такой ваял спец. Каждый год вождя серебрили – красили серебрянкой для свежести. Он блестел, словно новый таз. А птицам было все равно – птицы-то гадили и гадили на серебряную фигуру. Городок был с пустыми прилавками, кафешкой под названием что-то вроде «Ромашки» или «Ветерка». Ну, все как обычно. Скука, серость, покой. Но! Вечером грохотала дискотека на площади, и возле нее дежурил милицейский «УАЗ» – махач происходил ежедневно и по-серьезному.

Он снимал комнату у немолодой одинокой вдовы. Вдова была работником почты, и от нее пахло картоном и сургучом. Женщина она была спокойная и невредная. Только иногда... запивала. Пила, правда, тоже тихо: ставила у кровати бутылки и начинала «гулять».

Стонала громко – так, что сердце рвалось. Тогда приходила ее племянница Ольга. Девушка лет двадцати. Хорошенькая блондинка со вздернутым носиком и небесно-голубыми глазами. Она была славная, эта Ольга. Именно это определение ей подходило. Видя Куропаткина, она то бледнела, то краснела, то опускала глаза. Он отпускал ей дурацкие комплименты, и она снова бледнела и «входила в краску».

Она даже в какой-то момент ему понравилась – ну, от скуки, что ли. Или подобный тип был ему незнаком – милая, скромная провинциалка. А уж по сравнению с недавней знойной докторицей!..

Она ухаживала за почти невменяемой теткой, и Куропаткин удивлялся ее терпению. Однажды они сели на кухне пить чай. Разговор не клеился, она смущалась и отводила глаза.

А он веселился, подначивал ее, подкалывал и отпускал столичные шуточки. Тогда она подняла глаза и тихо, но твердо сказала ему, что вот этого делать не надо.

Теперь смутился и покраснел он.

С удивлением он вдруг обнаружил, что ему нравится смотреть на ее, казалось бы, такое неяркое и даже невзрачное лицо. Ее спокойная милота как будто успокаивала его. Теперь ему казалось, что и в такой неброской красоте есть своя тихая прелесть – как в природе среднерусской полосы – ничего яркого, резкого для глаза, только спокойная ласковая зелень, мелкие соцветия полевых блекловатых цветов и тонкие, прозрачные молодые березки по краю изумрудно-медового поля.

Ему нравилось, что она говорит мало, только отвечая на его вопросы, а по большей части молчалива. Она не вскрикивала, не охала, не причитала. Если случались проблемы, она просто сжимала бледный и нежный рот. После его бурных историй, громких романов – на разрыв, на разлом – она, словно прозрачный ручей, успокаивала его, а вовсе не будоражила и не тревожила.

Он стал теперь ее ждать – по вечерам в саду, на скамейке. Она приходила и молча садилась рядом. Молчать они могли долго – шелестел листвою сад, гулко падали яблоки, ударяясь о землю, и негромко пели поздние птицы.

Пахло чуть подвядшей августовской травой, мятыми яблоками и душистым табаком. Он брал ее за руку, она чуть, почти незаметно, вздрагивала, но руки не отнимала.

Сначала ее ладонь была прохладной, почти холодной, но скоро она становилась теплее, и он сжимал ее крепче.

Потом она шла к тетке, кормила ее, сквозь стену он слышал глухой разговор, а спустя час она опять выходила во двор и коротко бросала:

– Слава те господи, спит. Утомилась.

Однажды она рассказала, что теткина судьба «не приведи боже» – муж утонул, когда тетка была на сносях. Ребеночка она не доносила, да и вообще с этого времени все покати-лось под горку.

Тетку она жалела, ходила к ней, а вот ее мать, родная сестра, с той не общалась – не могла простить ей какую-то мелочь вроде пропавших золотых часиков их покойной матери.

Однажды она призналась, что в Энске ей жить тяжело – грустно и безнадежно. Замуж она не пойдет – да не за кого! Кто посмелее, давно уехал, а кому все равно – тот тихо спивается. Надежды, что что-то исправится, нет, да и родителей она бросить не может. А тут еще «болявая» тетка.

Он горячо и бурно начал уговаривать ее бросить Энск, наплевать на все и уехать в Москву.

Она качала головой, чертила на земле кружок босоножкой и не отвечала.

Потом вдруг подняла голову, внимательно посмотрела на него, и он увидел в сумраке августовского вечера ее светлые, прозрачные глаза.

– Боюсь, – сказала она. – Одна – очень боюсь!

– Чего? – не понял он.

– Всего, – усмехнулась она и добавила: – Москвы, например. И тебя.

– А меня-то за что? – глухо хохотнул он. – Разве я страшный?

– Для меня – выходит, что да. Потому... – она помолчала, – потому что ничем это все... хорошим для меня не кончится.

Он вдруг смутился, кашлянул и – ничего не ответил. А что тут ответишь?

Только понял одно – а она-то права!

Это понял, а все остальное – конечно же нет.

В тот вечер тетке было особенно плохо, и Ольга осталась.

Он лежал за стенкой и слышал, как тетка вздыхает и стонет. Ольга спрашивала ее, не надо ли чего – воды или сердечных капель.

Под утро, уже светало, а он все лежал почему-то без сна, тетка утомилась – раздался ее богатырский, раскатистый храп.

Он вышел на кухню и увидел, что Ольга сидит на табурете, положив голову на стол, – спит.

Он тронул ее за плечо, она тут же открыла глаза и с испугом на него посмотрела.

– Что? Опять? – спросила она и вскочила, откинув назад распутившуюся косу.

Он мотнул головой:

– Спит, все нормально. И ты иди. Поспи хоть пару часов.

Она кивнула, одернула платье и пошла в коридор.

Он остановил ее, взяв за плечи, и развернул к своей двери.

Она обернулась, глянула ему в глаза, побледнела, но в комнату зашла.

Он вошел следом и закрыл дверь.

– Ложись, – кивнул он на кровать.

– А... ты? – тихо спросила она.

– А я тут, в креслице, – усмехнулся он.

Креслице было старое, драное и колченогое. Она с сомнением посмотрела на него и покачала головой.

Потом подошла к его кровати, легла к стене, отвернулась и глухо сказала:

– Ложись. Места хватит.

И почему-то громко вздохнула.

Он быстро лег, стараясь не касаться ее тела, но она чуть подвинулась к нему и спустя пару минут обернулась.

– Ты... уверена? – хрипло спросил он, боясь на нее посмотреть. – Не пожалеешь?

– Да, уверена, – коротко ответила она. – И уж точно, – тут она усмехнулась, – уж точно не пожалею!

После той ночи она оставалась часто. Они ничего не обсуждали, не разговаривали на тему их отношений, хотя он все ждал, что она – впрочем, как и все женщины, – спросит однажды: а что будет дальше?

Ожидая ее, он лежал в постели и смотрел в потолок. Она, обиходив тетку, тихо прикрывала дверь, стягивала платье и белье, аккуратно раскладывала вещи на стуле, и, подавляя тяжелый вздох, шлепая босыми ногами, шла к нему.

Он видел в темноте ее белое, словно фарфоровое, тело, светящееся белизной почти прозрачной кожи, крупную женскую зрелую грудь и волосы, которые она быстро, одним движением, мгновенно и легко распускала. Они мягко ложились на плечи и струились по узкой спине.

Она осторожно ложилась с краю, они замирали, не смея дышать, но через пару минут он резко разворачивался, приподнимался на локте, и...

Все это продолжалось недолго, месяца три с половиной или четыре.

Кончилось лето, пролетел теплый и неожиданно солнечный сентябрь, и тут же начался холодный октябрь, обдав резкими ветрами и накрыв уже почти не проходящими, сплошными колючими ливнями.

В октябре он так затосковал, что ежедневно бегал на почту и заказывал разговоры с матерью.

Она умоляла его «досидеть до весны», боясь, что времени прошло слишком мало и что он вернется к «царице Тамаре». Та, по непроверенным слухам, была прощена и снова жила в Москве.

Он рассмеялся, сказал, что это все «ее больная фантазия», возврата туда нет и не будет.

Мать не верила ему, врала (он это чувствовал), что грузинский ревнивец его караулит по-прежнему, и умоляла не приезжать.

Но в середине ноября он точно понял, что едет в Москву. Ничего не сказав матери, он стал собираться.

Однажды Клавдия, его квартирная хозяйка, хитро прищурившись, спросила:

– Лыжи востришь?

Он дернулся и покраснел.

– С чего вы взяли?

Она махнула рукой:

– А чему удивляться? Зимы ты тут не высидишь, знаю!

– Все-то вы знаете, – буркнул он.

Мучил его разговор с Ольгой. Были даже трусливые мысли просто сбежать. Без объяснений. Просто уехать, когда Клавдия уйдет на работу, и все. Просто и быстро. Главное – просто.

Но не решался. Понимал, что с Ольгой надо поговорить. Только о чем? Сказать ей спасибо за, так сказать, проведенные совместно часы и минуты? За то, что скрасила его дни в этой постылой ссылке? За то, что одарила теплом и любовью? Не поскупилась на нежность?

Глупость какая! И как это выговорить? Смешно. Наврять, что едет ненадолго? Типа – дела? И что вернется?

Ну, это вранье она тут же раскусит. Она ведь не дура! Наврять, что приедет за ней? Слишком подло. Она станет ждать и надеяться. Такие, как она, готовы ждать жизнь, а не годы.

Начеркать письмецо? Это, конечно, проще. То есть совсем легко. Например, так – все было чудесно и даже волшебным. Но, ты понимаешь – там мой город и мать. Ничего не попишешь – такое бывает. Спасибо за все. И – прощай. Буду помнить всю жизнь!

Все правда, кроме последнего. Помнить «всю жизнь» он и не собирался. А то, что все было чудесно, чистая правда, ей-богу! Ни капельки лжи. Только вот... вряд ли ее это сильно утешит.

Ну а жизнь, как всегда, мудрее. Сама подсказала, как быть.

Ольга спросила сама:

– Когда ты... домой?

Он растерялся, что-то забормотал, а она перебила:

– Да езжай ты! И поскорее. Зимой тут вообще... невыносимо. Ты уж поверь. И дом этот... холода плохо держит. Щели одни, посмотри!

Он шагнул к стене и провел рукой по шершавым бревнам.

– Да, ты права – уже сейчас... очень холодно.

Она кивнула:

– Ну, вот! Я ж... говорю...

Потом резко вышла из комнаты, а он смотрел на захлопнутую дверь, не решаясь выйти за ней.

Минут через десять она позвала его ужинать.

Он сел за стол, а она накладывала ему в миску картошку. Ели молча. Он бросал на нее осторожные взгляды и видел, как она с аппетитом ест, как берет еще кусок хлеба, отрезает колбасу и хрустит соленым огурцом.

Она была, казалось, совсем не расстроена и даже весела.

Потом они пили чай, пришла с работы тетка и вывалила из бумажного пакета свежие пряники.

Разговор пошел общий, пустой, ни о чем, и тетка только переглядывалась с племянницей, или ему так казалось.

Потом тетка ушла к себе, а Ольга стала убирать со стола, и они снова молчали.

Он пошел к себе, обронив осторожно, что ждет ее в комнате. Она ничего не ответила. Он лег на кровать, взял книгу, но чтения не получалось – он прислушивался к звукам, доносящимся с кухни, а позже – из комнаты. Ольга о чем-то спорила с теткой, но звук был монотонный, приглушенный, и он ничего так и не понял.

Он сам не заметил, как уснул – под стук очередного дождя по жестяной крыше, дождя, который так уже всем надоел.

Проснулся он ночью и удивился, что ее рядом нет. «Значит, обиделась, – подумал он, – ну да, все правильно. Я, конечно, сволочь отменная, но... Я же ничего ей не обещал. Ничего! Она все знала – что я – временщик, что мать меня «спрятала». Что оставаться я здесь не намерен. И что уеду – совсем скоро уеду. Ну, а то, что случилось... Так по взаимной договоренности, если хотите! Она девочка взрослая, двадцать два – не пятнадцать, ну, и все остальное. А то, что обиделась, – это понятно. Любой бы обиделся. А уж женщина...»

Письмецо он все-таки написал. Вышло дурацким: «Спасибо за все! Ну, и прости – жизнь есть жизнь, она и диктует. У нас разные жизни и разные планы. И снова – прости».

Письмецо это неловкое он положил на колченогий и шаткий кухонный стол тети Клавды.

И был таков. В поезде, отъезжавшем от городка, он вдруг загрустил. На душе стало зябко и пусто, словно вот сейчас, когда он уезжает, надеясь при этом, что навсегда, у него что-то забрали – не то, что вроде дорого ему и сильно нужно, но все-таки...

Поезд шел ночь, и наутро, в самую рань, в полшестого, он вышел на московский перрон.

Было довольно холодно, и вокзал, пути и вагоны были укутаны плотным туманом, перемешанным с запахом паровозного дыма.

Он постоял на перроне, жадно вдыхая эту сладкую и знакомую смесь запахов большого и очень родного города, расправил плечи, улыбнулся и бодро пошел на выход.

Та недавняя и очень короткая жизнь, которую он проживал еще вчера, осталась так далеко, что он тут же забыл ее – не жалея о ней ни минуты.

И не вспоминая, кстати, почти никогда. Или – совсем никогда.

Исключая сегодняшний день. Из-за этой нелепой Ведяевой Дарьи.

\* \* \*

Он лежал на диване, то проваливаясь в странный тяжелый сон, перемешанный с явью, то просыпаясь – тревожно, словно очнувшись от тяжелой болезни. И снова впадая в небытие.

Потом наконец проснулся, открыл глаза, попил теплой невкусной и старой воды из бутылки и посмотрел на часы. Было довольно поздно, почти семь вечера, и он удивился, что жена ни разу не позвонила.

Он взял телефонную трубку и набрал ее номер.

Голос ее был раздраженным и злым.

– Что, Куропаткин? Очнулся?

Он что-то забормотал, пытаясь найти оправдания. Он всегда разговаривал с ней словно оправдываясь. Такая форма сложилась давно, но каждый раз он расстраивался, словно впервые, чувствуя себя шкодливым и глупым ребенком.

Она перебила его и прибавила голосу:

– Мужчина – это ответственность, Куропаткин! Ты меня слышишь? А то, что делаешь ты... Это, знаешь ли... беспредел! Вот что это такое!

– Почему беспредел? – удивился он. – И вообще, при чем тут именно это слово?

Лексикон ее первого мужа.

Инна Ивановна на вопрос не ответила, выкрикнув еще что-то обидное, вроде того, что он – настоящий козел и дерьмо, и бросила трубку.

Он встал с дивана, окончательно разбитый и поверженный, достал из сейфа бутылку хорошего коньяка – для гостей. И стал пить прямо из горла – от большого душевного расстройства и даже практически с горя.

Выпив почти до дна, он снова рухнул на свой сиротский диван, просипев вслух почти неразборчиво:

– Значит – вот так? Значит, развод, моя милая! Ну, хорошо! – последнее прозвучало совсем угрожающе.

И снова уснул. Утром, часов в шесть, он проснулся от страшной боли в спине – диван производства славного украинского города Н. объяснил ему, где раки зимуют. Кряхтя и

постанывая, согнувшись почти в дугу, он еле дошел до туалета, чтобы умыться и привести себя в порядок.

Глядя на свое отражение, он четко понял одно – являться с такой мордой домой он не вправе.

И дело даже не в жене, дело в Ваньке.

– Ох, ну и рожа! – сказал он вслух и покачал головой.

Вернувшись в офис, он дрожащими руками поковырялся в кофеварке, понимая, что если не крепкий кофе, то лютая и мучительная смерть.

Кофе получился – вот что значит напрячься, – и он стал понемногу, медленно и тяжело, приходить в себя.

Раздался телефонный звонок, и глухой женский голос спросил про «оклад» и «социальный пакет».

Он озвучил «оклад», пропустив мимо ушей вопрос про «пакет», и голос захохотал раскатистым, почти мужским смехом:

– Вы это как – серьезно?

Он сурово кашлянул, спросив, что соискательницу так удивило.

– Да козел ты! – грустно ответила та и, тяжело вздохнув, бросила трубку.

Второй раз за сутки его припечатали этим «чудесным» словом. Инна Ивановна и эта баба.

«Не многовато, любезный?» – спросил он себя и снова расстроился.

«Видимо, правы», – совсем взгрустнулось ему.

Но взял себя в руки и все-таки решил, что надо бороться. Для начала следовало поесть. Точнее, пожрать. Он заказал большую пиццу, самую острую, и перченые куриные крылья – чтобы взбодриться.

Потом достал из шкафчика свежую сорочку, носки и трусы. Переоделся, смочил водой волосы, сбрызнулся одеколоном и стал ждать свой ланч.

Плотно поев, он почти пришел в себя, снова сварил кофе и принялся разбираться в Полинкином хозяйстве.

Наведя кое-какой порядок, он подустал и решил устроить передых. Не стал ложиться на неудобный диван, а сел в кресло – намеренно, чтоб не уснуть. Вытянул ноги, откинул голову и закрыл глаза. «Релакс, – объявил он, – ну, или как ее... медитация!» Расслабон, короче, если не очень мудрить.

А перед глазами вдруг снова возникла Ольга и тихий и сонный Энск. Вот почему? От тоски? Словно по медленной, затянутой ряской реке в старой лодке без весел, чуть покачиваясь, несли его воспоминания – неспешно, растянуто, как при замедленной съемке.

И он вдруг подумал, что Ольга и те несколько месяцев полного покоя и отсутствие африканских страстей, возможно, были самыми счастливыми и беззаботными днями в его бурной жизни. Эта мысль потрясла его! Просто пробила до дрожи.

А Ольга – Ольга была лучшей женщиной в его жизни. Лучшей! Потому что ничего она от него не хотела. Ничего не просила – даже самой малости! Ничего не требовала. И всем была довольна и, кажется, счастлива. А он... Он ничего не заметил! Не оценил. Не прочувствовал и так и не понял. Что такая, как Ольга...

Что с такой вот, как Ольга, ну, или с такими, и надо проживать жизнь. И вообще... Там, в Энске, в старом, щелястом и холодном домике почтальонши Клавы, на узкой железной скрипучей кровати он был счастлив – воистину счастлив только тогда!

Так ему показалось.

Потому что его любили. И ничего не хотели взамен – ничего, кроме любви.

А он не заметил. Не разглядел и не понял, что жизнь надо тратить не на Инну Ивановну Евсюкову, которая часто, очень часто, когда была недовольна собственным мужем, называла его козлом, а на Ольгу.

Разве она бы осмелилась? На такое вот слово?

И сегодня, и в любое другое тяжелое время такая, как Ольга, не пеняла б ему, что главное для мужчины – чувство ответственности.

Потому что у мужчины очень много различных «чувств» кроме этой ответственности – обида, вина, боль, отчаянье. Слезы и жалость – пусть даже к себе. Слабости всякие.

Как и у всех прочих людей. В том числе у женщин.

Ему стало так горько, так обидно и так тоскливо, что разболелось сердце – правильно, справа.

И по всему выходило, что он – идиот. Законченный кретин и дурак.

А значит, и Евсюкова, и тетка, звонившая насчет «оклада», абсолютно правы: он – настоящий козел.

И Николай Куропаткин заплакал. Горько заплакал.

И сквозь слезы, без остановки катившиеся из глаз, он снова видел Ольгу – ее легкие светлые волосы, прозрачные, словно летнее небо, глаза, тонкую белую шею с голубой, еле заметно пульсирующей жилкой и ощущал – почти наяву – ее теплую, мягкую и нежную руку на своем плече, ну, или груди.

И ему стало так жалко ее, такую нежную, тихую и беззащитную... Такую наивную!

Но еще больше ему стало жалко себя.

Он то снова спал, словно в бреду или в мороке, то тяжело просыпался, пил воду из крана, до кофе и чая дело не доходило, и снова бухался в кресло, моля об одном – отключиться.

Чтобы не думать про свою прошлую жизнь, про потерянное счастье и про жизнь настоящую – вот про эту – паче всего!

И вдруг что-то пронзило его, проняло до костей, до жил так ярко, как вспышка зарницы – остро, внезапно, сиюминутно и так горячо и больно, что он подскочил, обливаясь обильным потом, и тут же открыл глаза – Ведяева Дарья! Эта белобрысая девочка! Эта маленькая, тихая, серая мышь! Она ведь... Она ведь вполне... Вполне могла быть!

Нет! Чушь и бред! Больные фантазии воспаленного и расшатанного алкоголем мозга. Такого не может быть! Потому... Да потому, что все это так отчаянно пахнет дешевой, леденцовой мелодрамой, которую приличный человек даже не будет смотреть.

Это такая чушь, подобные совпадения возможны только в малобюджетном кино.

Да нет. Невозможны вообще. Придумать такое под силу только такому писаке, которому просто совсем нечего выдумать.

Да чтобы так – в стольном городе, где количество жителей, как говорят, давно перевалило за двадцать миллионов. В его крошечный офис, в пустяковую, маленькую компанию приходит – случайно, заметьте! – его внебрачная дочь!

Или? О господи! Нет, никогда. Никогда его Ольга такого не сделала бы. Отправить их общую дочь вот так вот к нему? Конечно, предположить можно – имя, фамилия, возраст ей известны. И что получается? Она наказала дочурке приехать к папаше – ну, так, навестить. Сообщить о себе. Ну, а потом... Не зря говорят, что эти провинциалы совсем другие, чем раньше. Приперлась, чтобы отжать. Ну, что-нибудь – деньги хотя бы. Просто чтоб навредить. Отомстить. За себя и за мать. Влезть в его жизнь – сытую и налаженную. Ведь про все остальное ей неизвестно. Для них он – Крез, ну, или Роман Абрамович...

Нет, бред. Точно бред. Тогда бы эта Ведяева заявила совсем по-другому. Пришла бы и объявила о том, кто она такая. Он бы, конечно же, сразу не повелся – нашли дурака! Да и время сейчас другое – есть экспертиза ДНК и так далее.

Он бы ее не выгнал, эту девицу. Сразу – не выгнал бы, нет. Но на отцовство бы не подписался. А если? И что тогда? Да представить себе это страшно. Зная Инну Ивановну, милую женушку. Ох, летела бы Ведяева Дарья с лестницы – да не дай бог ей такое. Вмиг бы забыла про все свои посягательства, встретившись с Инной Ивановной, женщиной строгой и очень конкретной.

«Постой-ка! – тут его словно подбросило. – А ведь эта девица сказала, что мать ее умерла. И из родни – никого. Та-ак. Остановка. Надо все вспомнить – весь разговор с ней, до мелочей. Так-так».

Он вспоминал. Из Энска, да, точно. Мать умерла. Отец неизвестен. Бабка и дед тоже там, далеко. В смысле – на небесах и на кладбище. Дом без удобств, печка, сортир во дворе. Все сходится. Все это – про Ольгу!

Ольга жила с родителями в деревянном бараке совсем без удобств. Он вспоминал, что она добивалась каких-то дров на зиму, бегала по инстанциям, подписывала кучу бумаг.

Так, выходит... Он уезжал, а она... она уже была в положении. И ничего ему не сказала! Милая Оля! Бедная девочка... Постой, Куропаткин! А арифметика? Ее пока что не отменили. Эта Дарья сказала, что ей почти двадцать. Так-так. Он принялся быстро считать. И снова окатило, да так! Ё-мое! Все сходится, все! И год, когда он был в Энске, и год рождения девочки. Блин. Ну, ни фиги себе!

Куропаткин плюхнулся в кресло, и оно заскрипело, накренилось, и металлическая ножка мстительно и яростно хрустнула. И Николай Куропаткин упал.

Он сидел на полу, словно застывшая мумия, и не мог шелохнуться. Болела спина, да так сильно, что он стал подвывать, словно брошенный пес.

Потом приподнялся с карачек – кряхтя и постанывая, будто дряхлый старик.

С усилием сел на диван, потом осторожно прилег и замер – все сходится, блин! Эта девочка, Дарья, его родная дочурка. Его и Ольги. Такие дела.

«Что делать, Колян? – спросил он себя. – Что делать-то, Коля?»

Мысли неслись галопом, точно как в лихорадке, не поспевая одна за другой. Маме? Позвонить маме и все рассказать? Бедная мама, мамочка! Сколько горя я принес тебе, дорогая! А ты – ты спасала меня, как могла! Вытягивала из моих вонючих болот, из бесконечных передрыг – тащила. Протягивала руку и снова молилась. Чтобы твой сын, кретин и дурак, наконец осознал. А я? Я женился на Евсюковой и снова тебя огорчил. Да какое там – огорчил! Я сломал твою жизнь. Не только свою, но и твою! Евсюкова тебя ненавидит. За что? Говорит, что ты, моя милая, вырастила уроды. Хотя ты, дорогая, ни разу – повторяю, ни разу – не отказала снохе. Сидела с Ванькой, отпускала нас отдыхать. Продала свою трешку, переехала в однушку, чтоб мы внесли деньги за свое жилье, взяв ипотеку. Ты отдала ей свою единственную ценную вещь – золотое колечко с гранатом, то, что осталось от бабушки. А эта дрянь скорчила морду – она такое не носит! Не носишь – верни. Так нет, продала! Продала за копейки. Стерва какая!

А если бы я тогда привез Олю? Какой бы Оля была тебе невесткой! Ты бы ее полюбил. А уж она тебя – да что говорить! Вы бы пекли пироги, варили варенье и ворковали на кухне. Вы б ужились. Кто б сомневался! И ты бы осталась в своей любимой квартире. В нашей квартире!

Господи боже! Простите меня, мамочка, Оля и девочка Даша!

Простите, родные!

И Николай Куропаткин снова заплакал.

Постойте! А вдруг? Вдруг это все... бред воспаленной фантазии? В конце концов, Энск не такой уж и маленький город. Тысяч двадцать жителей – наверняка. Мало ли женщин, родивших без мужа? Мало ли женщин, живущих с родителями? Мало ли женщин, живущих с сортиром на улице? Да целая куча! И с чего это он все придумал? Дурак.

Он поднялся с дивана и заходил по комнате. Та-ак. Надо проверить! Как? Да проще простого. Элементарно, Ватсон! Сейчас он найдет телефон этой Дарьи, и все будет ясно!

Он выскочил в секретарский предбанник, бросился к столу и тут же нашел листочек с координатами Дарьи Ведяевой.

Дрожащей рукой набрал ее номер. Она взяла трубку тут же, со второго звонка.

– Слушайте, Дарья! – сумбурно и взволнованно начал он. – Это Николай Куропаткин. Вы ко мне приходили. Да-да, на «Спортивную», в офис. Наниматься на службу. Так вот что я, собственно, хотел вам сказать. Точнее, узнать, – тут он притормозил и, смущаясь, спросил: – А как ваше отчество, Дарья?

И замер.

– Отчество? – переспросила она удивленно. – Николаевна. Дарья Николаевна Ведяева – отчеканила она, и в ее голосе появилась надежда. – А что? Вы меня... нанимаете?

Все сходится. Это его дочь. И Ольга дала ей его отчество.

Куропаткин молчал. Молчал долго, минуты три. Потом наконец хрипло выдавил:

– А как вы про нас узнали?

– Обыкновенно, – спокойно ответила Дарья, – из газеты «Работа для всех». Есть такая газета. Ну, да вы же знаете. Сами давали туда объявление!

– Давал, – тупо повторил он, – и в Интернет – тоже давал.

– Ну, вот, – обрадовалась она, – значит, все правильно, да?

– Правильно, – так же тупо повторил он.

И снова возникла пауза.

– Так я вам... подхожу? – тихо и осторожно повторила она. – Ну, раз вы... звоните?

– Слушайте, Дарья, – вдруг быстро заговорил он, – я не об этом. А как, вы меня извините, звали вашу мать?

– Кого? – удивилась она. – Мою мать?

Он повторил резко:

– Да! Вашу мать!

Она тихо вздохнула и ответила:

– Света. Светлана. Светлана Николаевна Ведяева.

– Какая Светлана? – удивился он. – Такого не может быть! Почему вдруг Светлана?

– Ну, так ее звали, – осторожно сказала Дарья слегка испуганным голосом. – И почему так не может быть?

– Так, подождите! – грубо оборвал он ее. – А отчество? Ну, ваше отчество. Вы – Николаевна, да? Значит, ваш отец был Николай?

– Нет, – ответила она и громко всхлипнула. – Как звали отца, я не знаю. Мама не говорила. Она... вообще не хотела о нем говорить... А Николаем был дедушка. Мой дедушка Коля. Ну, и они решили, что отчество я буду носить его.

Она замолчала, не очень понимая, почему этого странного человека интересуют такие подробности.

– Дедушка? – озадаченно переспросил Куропаткин. – А мать – Светлана? – туповато повторил он. – Ну, все понятно, – как-то расстроено произнес он и нехотя добавил: – Я перезвоню вам, Дарья. Надеюсь, не возражаете?

Она совсем раскисла, расстроилась и грустно сказала:

– Конечно. – И торопливо добавила вслед: – Я буду ждать. Очень-очень.

Куропаткин нажал отбой и плюхнулся в секретарское кресло. Покрутился немного – вправо и влево. Просвистел какую-то песенку. Включил кофеварку и снова крутанулся вокруг своей оси, подумав, что Полинкино кресло куда удобнее его и, судя по всему, намного дороже.

«Стерва! – в который раз подумал он. – Наглая стерва!»

Пока он пил кофе, раздумывая, стоит ли ехать домой или, может, остаться еще на одну ночь в офисе, чтобы Инна Ивановна слегка задумалась о своей личной и семейной жизни. Чтоб испугалась. В конце концов. Вспомнила, цаца, что ей уже сорок. И что целлюлит, и что ботокс. И что... Да есть над чем задуматься, кстати. При всей ее прелести... А возраст-то виден. Не девочка, чай. А он, Куропаткин, еще о-го-го! Высокий и стройный, без всякого брюха. И волосы есть, и хорошие зубы. Смотри, Евсюкова! Ты, милая, с ярмарки. А мужик в сорок пять – завидный жених...

Настроение у него улучшилось, кофе он выпил с большим удовольствием и почувствовал, как хочется есть. Он пересчитал наличность и понял, что обед в ресторане ему по плечу. И черт с ней, с законной. Сейчас он умоется, побреется и – вперед! В «Джеральдино» или к Гураму. Италия – Грузия, а чего хочется больше? Он выглянул в окно и увидел свой припаркованный синий «Ниссан».

Неплохо. Вполне интересный, здоровый мужик. Уже – с легким сердцем. Уже полчаса с легким сердцем! И почти без проблем. Уф, пронесло. С этой Дарьей. Пронесло, что говорить! А если бы нет? Вот началось бы тогда... Подумать страшно! Внебрачная дочь – и все, что с этим связано. Ее надо было бы опекать, помогать материально, куда-то селить, трудоустраивать. И все это – под бдительным оком Инны Ивановны. Бр-рр! А уж ее-то реакция! Ну, здесь все понятно. Даже самая терпеливая, умная и хорошая женщина вряд ли обрадовалась бы такому сюжету. А что говорить про нее, Евсюкову?

А что трудности в бизнесе – так у кого их, собственно, нет? Он будет бороться, сражаться, стремиться. И – вырулит. Точно. Подумаешь – сложности! Впервые, что ли?

И все у него, Куропаткина, будет отлично. Он справится. Такое бывало не раз. И что? Пронесило!

А вот по поводу Евсюковой... Здесь, конечно, сложнее. Любит он эту дуру и стерву. Любит. И Ваньку. Ну, ладно. Что делать? Не самое страшное – капризная и избалованная жена. К тому же – при всех своих недостатках Инна Ивановна верная. Налево не смотрит. Хозяйка хорошая. Ну... Неплохая. Не любит, когда в доме грязь. И кстати! Насчет готовки. Борщей, конечно, не варит и пирогов не печет, а вот фетуччини с грибами готовит! И лазанью, и киши там разные – с грибами и сыром. Не очень он, правда, любит все это, но... Ему бы котлеток с борщом. Но это не Иннина пища. Плебейская, в смысле. Зато это можно поесть у мамы. Кстати, всегда.

И еще фасолевый суп. Ум-мм!

Куропаткин вздохнул, надел пиджак, запер офис и спустился вниз. В ресторан идти расхотелось – захотелось домой. Так захотелось!

Он быстро доехал до дома, поднялся на свой этаж и, повертев в руках ключи, чуть подумав, нажал на звонок.

Жена открыла дверь и посмотрела на него так, словно раздумывая: пускать – не пускать?

Потом, однако, вздохнула и чуть отступила назад.

– Привет! – сказал Куропаткин и скинул ботинки.

– Поправь, – кивнула она на развалившуюся обувь. – У нищих слуг нет!  
Куropаткин нагнулся и выровнял свои ботинки.

Она удовлетворенно кивнула, усмехнулась и молча ушла на кухню.

Он, не торопясь, вымыл руки и тоже пошел вслед за ней.

На кухне работал телевизор – какая-то чушь по «Домашнему» – что-то из жизни миллионеров: рублевские жены хвастались успехами маститых мужей и проводили экскурсии по дому.

Жена жадно всматривалась в экран, и на ее лице было растерянное и жалкое выражение.

Ванька ковырялся в тарелке с овсянкой и раскачивался на стуле.

– Не качайся! – резко бросила Инна. – Стул сейчас развалится!

– И спину ломаешь! – подхватил Куропаткин.

Жена бросила на него уничижающий взгляд и зло усмехнулась.

– Папа пришел! Воспитатель! – прокомментировала она мерзеньким и елейным голоском.

Ванька испуганно переводил взгляд с одного родителя на другого.

Куropаткин сел за стол и посмотрел на сына:

– Ну, как успехи? В школе и в гольфе?

Ванька глянул на мать, словно спрашивая у той разрешения – а стоит ли вообще отвечать на вопросы этого человека?

Инна отвернулась к плите, но вся ее гордая и очень прямая спина кричала, вопила и негодовала в адрес *этого* человека.

Ванька пожал плечом:

– Да нормально! А ты, пап, где был?

– В командировке, – ответил Куропаткин, немного краснея.

Инна Ивановна фыркнула, но ничего не сказала.

– Инн, – наконец спросил муж, – а можно что-то поесть?

Она резко повернулась к нему, и он увидел, как на ее щеках запылали алые розы.

Молча и со стуком она поставила на стол сыр, масло и хлеб. Налила себе кофе и села за стол.

Куropаткин снова вздохнул и промямлил:

– А кофе?

Она ничего не ответила, дернулась и стала о чем-то расспрашивать сына.

Куropаткин встал, сварил себе кофе, взял два бутерброда и молча пошел к себе, чувствуя на своей спине ее очень пронзительный, просто испепеляющий взгляд.

«Хорошая получилась бы из нее актриса, – устало подумал он, – ну, в каких-нибудь сериалах. На НТВ».

Он сел за письменный стол, открыл ноутбук и принялся за бутерброды. Потом услышал, как хлопнула входная дверь – жена повезла сына на занятия.

Он расслабился, потянулся и встал. Прошелся по квартире – и с удовольствием отметил, как все красиво у них и со вкусом.

«Нет, молодец все-таки Инка, – подумал он. – Вот как все умеет! Тут вазочка, тут скатерка. Тут торшерчик затейливый. Зеркало, шторы. Здорово как. И как красиво. Женская рука, что говорить!»

Он принял душ уже совсем счастливый – дом свой он любил, – потом налил чаю и пошарил в холодильнике. Там обнаружился какой-то кусок пирога. Откусил – с творогом. Съел с удовольствием.

Потом пошел в гостиную, включил телевизор и на канале «Спорт» нашел биатлон.

В кресле было уютно, в доме тепло. И он в хорошем настроении совсем расслабился и задремал.

Перед этим подумав, какое же счастье, что его *пронесло*! А с Инкой – да все разрулится. Сколько раз ссорились, какие дела!

Разбудил его телефонный звонок. Приятный женский голос справлялся насчет работы.

Он все объяснил и, кашлянув для солидности, попросил соискательницу рассказать о себе.

Она представилась – Инна Фролова.

При слове Инна его слегка передернуло. Но дальше все было приятно – Инне Фроловой было под тридцать, разведена, имеет малолетнюю дочь. Дочь живет с мамой недалеко – в Балашихе. А она, Инна Фролова, имеет жилплощадь в Москве. На Комсомольском проспекте. Деньги большой роли для нее не играют – ну, такие обстоятельства, можно без подробностей?

Можно. Конечно.

А что волнует? Да неохота дома сидеть. Три года сидела, и так надоело, что... да что говорить. А ваш офис – ну прямо у дома. Пешком минут десять. С десяти и до шести, правильно? Вот! Два выходных – все прекрасно. Меня все устраивает. А вас? Да, опыт имею – ну, не такой уж большой, но...

И она назвала фирму-конкурента – Куропаткин чуть не присвистнул от неожиданности и удивления.

Завтра? Устраивает, а почему нет? Да нет, не то чтобы спешно, но очень хочется выйти.

Ну и договорились на завтра.

Инна пришла через пару часов – бросила презрительный взгляд на сидящего в кресле мужа и, ничего не сказав, только хмыкнув, ушла на кухню.

Он слышал, как она говорит по телефону – голос был приглушен телевизором, и разобрать ничего было нельзя. Наверное, с мамашей. Естественно, со своей. Его матери она никогда не звонит.

Тещу свою он... мягко говоря... Нет, не надо мягко – надо как есть. Тещу свою, Аделаиду Степановну, он ненавидел.

Жуткая тетка. Такая махина с пергидрольной башней на голове – с черными наведенными бровями, с ярко-алой помадой и бриллиантами с полкулака.

Аделаида Степановна всю жизнь прослужила в гостинице. Работала с *контингентом* – так она называла иностранных гостей. Стучала, наверное. Наверняка! Небось при погонах. Не меньше майорских. Такой, правда, и генеральские очень к лицу.

Хвасталась, что у нее в ушах «по коттеджу». Мужа своего, скромного и «никчемного» Ивана Ильича, всегда презирала. Но не разводилась. Сохраняла, так сказать, статус.

Иван Ильич был скромным бухгалтером в строительном тресте. Стырить там было нечего, вынести тоже. Ну, муж «ни о чем», что говорить. Аделаида любила со скорбным лицом рассказывать, что «дети и дом были на ней». Так оно, конечно, и было. Ее рассказы «про жизнь» были до противного однообразны – уважительно она говорила о знакомых, с которых что-то имела, – мясник Поливайко, маникюрша Светлана, зубница Клара Васильевна. Лида из «Арбатского», из гастрономического отдела. Скорняк Рабинович, ювелир Наум Маркович. Спекулянтка Зойка из магазина «Весна».

«В доме у нас было *все!*» – гордо заявляла она, предварив тем самым любые вопросы, – а может быть, чего-то и не было, а?

Да кто бы решился об этом спросить? Нет таких смелых. Зятя своего, Куропаткина, она, естественно, не любила и считала человеком никчемным. А мужа так и вовсе отправила в ссылку на дачу – чтоб не маячил перед глазами, ну и вообще – не портил настроения ей, королеве.

Дочку обожала и очень жалела – ну, не такая судьба же должна была быть у ее красавицы, не такая! Да где она, справедливость? Впрочем, кое-что понимала: Инка не девочка, есть ребенок – ну, встретит кого-нибудь поудачливей, и нечего думать! А не судьба – пусть живет с Куропаткиным. Черт с ним.

Слава богу, весь ее пыл был направлен на сына и на сноху. Вот уж несчастная женщина! Сын был тоже никчемным – отпрыск папашин, и она все про него понимала. Тухлая кровь. Но винила во всех бедах сноху. Ох, той доставалось!

А любимую дочь, как могла, утешала. Поддерживала, ну и, конечно, жалела.

Мать Куропаткина со сватьей не общалась – раз в году на дне рождения внука, и все, выше крыши. Ну и теща ее не жаловала – оно и понятно.

На свадьбе мать сказала ему:

– Колечка, я все... понимаю. Ну, или стараюсь понять. Но здесь – уволь. Никогда!

Куропаткин все понял и, разумеется, согласился.

Теща приезжала довольно часто. Сидела на кухне, трясла дорогими подарками Ваньке и с укором смотрела на зятя.

Инка с ней нежно ворковала, сплетничала, обсуждая родню и знакомых, вместе они поливали невестку Людмилу, допоздна пили чай, и она, слава богу, уезжала домой. После нее на кухне оставался тяжелый и терпкий запах цветочных духов и длинные белые волосы в раковине в ванной комнате.

Куропаткин подумал, что Аделаида сейчас поливает его помоями и плачет от жалости к дочке. «Ну и черт с вами, – подумал он. – Подумаешь, новость!»

Хотя, конечно, настроение подпортилось, что говорить.

Он ушел в спальню и долго не мог уснуть, ворочался, было душно, и ему казалось, что тянет тещиными духами.

Инна зашла в комнату, зажгла настольную лампу, села за туалетный столик и начала свои манипуляции, предшествующие приятному сну. У нее вообще была мания – высыпаться. Не менее девяти часов. Иначе – беда. Старение, блин, кожи лица. Трагедия жизни!

Раньше он любил подглядывать за ней – чуть приоткрыв глаза. Ему нравилась сосредоточенность, с которой она разглядывала себя, поворачивая голову. Как изящно открывала баночки с кремами, расчесывала волосы, заплетала «ночную прическу» – косу.

Потом, почему-то вздохнув, она гасила свет, стягивала кружевную сорочку и осторожно ложилась в постель.

А он, словно подросток, вдыхал ее запах, замуривал в блаженстве глаза и, чуть обождав, клал ей руку на грудь.

Тогда еще она отзывалась!

Сейчас все, разумеется, повторялось. Он видел, как она села на пуфик, как тяжело вздохнула, внимательно разглядывая себя, и увидела то, что скорее всего ее не утешило. Потом расчесала волосы, заплела косу, откинула ее за спину и стала мазать кремом лицо.

Потом выключила свет, снова вздохнула, стянула рубашку и легла на свое законное место.

Куропаткин осторожно повернулся к ней и, почти не дыша, положил руку ей на плечо. Она резко скинула его ладонь и возмущенно сказала:

– Ну, ни стыда ни совести у человека! Совсем обнаглел!  
И Куропаткин отвернулся к стене. Очень сильно обиравшись.

Утром он сам варил себе кофе и делал бутерброд. Жена его игнорировала. Ваньку отвез в школу он, болтая с ним по дороге о каких-то роботах – последнем увлечении сына.

А дальше поехал в офис, по дороге набрав телефон Инны Фроловой.

Та тут же откликнулась, весело и бодро сообщив, что будет ровно в одиннадцать. Это удобно?

В офисе было все так же неряшливо и пустынно. Он стал прибираться – помыл вчерашние чашки и блюда, протер пыль со стола и даже полил цветок на подоконнике – последний привет от стервы Полины.

Потом он поправил галстук и воротник новой сорочки, сбрызнулся одеколоном и слегка намочил топорщившиеся волосы. Сел в свое кресло, поерзал, поднялся и поменял его на кресло Полины.

– Знай свое место! – проворчал он, примериваясь к новому креслу.

Ровно в одиннадцать: точность – вежливость королей, и это он очень любил, – раздался стук в дверь.

– Войдите! – отчего-то хрипло, будто волнуясь, крикнул он, и дверь растворилась.

На пороге стояла... красавица. Нет, не так. На пороге стояла красавица обалденная!

Он даже опешил.

– Вы ко мне? Не ошиблись?

– Да нет, это я! – рассмеялась Инна Фролова и села напротив.

Она, эта Инна, была из тех женщин, от которых он всегда терял голову. Да и не только он, несомненно! Она была довольно высокой, с прекрасной фигурой – не слишком худая, плотная, длинноногая. Пепельные волосы были затянуты в хвост, перехваченный синей бархатной лентой. Синий пиджак, серая юбка. Белая маечка под пиджаком. Пальто из плотного черного драпа она небрежно бросила на спинку стула в прихожей. Высокие, под колено, блестящие сапоги и маленькая сумочка в цвет. На пальцах пара колечек, в ушах скромные серьги. Косметики минимум и очень со вкусом.

Она, видя его растерянность, мягко улыбалась и слегка покачивала стройной ногой в высоком и, видимо, недешевом итальянском сапожке.

Он взял себя в руки, напустил строгий вид и повел разговор. Приврав, что прежняя секретарша ушла в декрет, работы – увы – не так много, ох, ох. Кризис, будь он неладен!

Она уже сняла улыбку с лица и кивала – в поддержку, что ли? Видя его смущение?

Потом, откашлявшись, он еще раз спросил насчет зарплаты. Осторожно и все же неловко.

– Вы правильно меня поняли, Инна? Увы, больше платить сейчас не смогу. Ну, дела не то чтобы плохи...

Ну, и дальше пошел всякий бред про коварных партнеров, про взлетевший евро, приплел туда же несчастную Грецию, зажатую Евросоюзом в тиски, основную поставщицу товара, – ну, вы понимаете! Потом неожиданно для себя вдруг рассказал – коротко, правда, – про «некорректное поведение» Полины.

Она мягко остановила его.

– Да вы не расстраивайтесь так, Николай Григорьевич! Беременная женщина, ну, вы понимаете... А контакты я восстановлю, не сомневайтесь.

И повторила, что зарплата ее не очень волнует. Главное – что удобно и близко от дома.

Работа. Дочка на бабушке, с мужем в разводе. В общем, тоска. Надо чем-то заняться.

Потом она прошлась по офису, оглядев все опытным глазом. Предложила сварить кофе, ну, или чай. Вы любите черный или зеленый?

Он, растерянный и ошарашенный внезапно привалившей удачей, даже счастьем, согласился на чай, и они выпили чаю. За которым она коротко, не вдаваясь в подробности, рассказала, что совсем недавно развелась с мужем, серьезным бизнесменом. Квартира, слава богу, осталась за ней, да и машина тоже. Деньги на дочь он дает, и достаточно. И вообще, как правильно, что они подписали брачный контракт.

Потом она вымыла чашки, сложила их аккуратно на чистой салфетке, сказала, что надо купить пару пачек хорошего кофе, итальянского. Не возражаете? Ну. И еще так, по мелочи – сушки, печенье, хороших конфет. Ну а дальше – там будет видно.

Он тупо кивал и со всем соглашался.

Они распрощались и договорились, что выходит она в понедельник. Так как сегодня пятница. Ну, все понятно.

Инна Фролова вышла, оставив шлейф легких и тонких духов, которые он с удовольствием громко втянул ноздрями.

После ее ухода он наконец словно очнулся, бодро заходил кругами по офису, почему-то приговаривая: «Ну, дорогая, посмотрим!»

Что это значило, он и сам точно не знал, знал только, что кому-то грозит. Наверное, Инне Ивановне и противной Полине.

В подробности он не вдавался. Был возбужден и полон надежд. Отчего возбужден? И какие питал надежды?

Да непонятно. Наверное, так окрыляет мужчину новая и незнакомая женщина, да?

Очень красивая женщина, надо сказать.

Он вернулся с работы рано, принялся читать с сыном книжки. Потом играли в «стрелялки». Недолго – долго не позволяла жена. Ну, права.

А назавтра договорились поехать в «Детский мир» – за этими роботами, о которых так мечтает Ванька.

На жену он почти не смотрел, словно ее и не было вовсе. А когда она позвала обедать, нехотя встал, словно делая ей огромное одолжение.

Увидев в тарелке кусок приготовленной на пару рыбы и отварную брокколи, скривился и уставился на жену.

– А нормальной еды у нас нет?

Она почему-то растерялась, опешила и не ответила хамством.

– Есть пельмени... готовые... хочешь? – перепуганно сказала она.

И он с тяжелым вздохом согласился на пельмени.

– Уж лучше готовые, чем эта бурда.

Ванька тоже закапризничал и стал отпихивать тарелку с рыбой, затребовав готовых пельменей.

И Инна, к удивлению сына и мужа, молча сварила пельмени.

Ночью она, как всегда, легла на свою половину и чуть – самую малость, но он заметил, – придвинулась к нему.

А он отвернулся и тут же уснул. Но перед сном ехидно подумал: «А-а, прочухалась! Значит, не дура. Хотя бабы и без мозгов все просекают – сердцем чувствуют, как в фильме сказано. Вот пусть и помучается. А то... совсем обнаглела. А ну как закручу роман с тезкой – вот тогда и посмотрим. Чего стоит твой безответственный муж Николай Куропаткин!»

Инна откинулась на спину и уставилась в потолок. «Странно все это, – думала она, – и что это значит?»

Расстроилась, долго не могла уснуть и решила, что с утра позвонит маме. Может, она все объяснит?

Утром она, нажарив оладий, бегала по кухне и заглядывала мужу в глаза. А Куропаткин был неприступен, болтал только с Ванькой, обсуждал с ним планы на день.

После завтрака они стали собираться, и Ванька спросил, берут ли они с собой маму.

Куропаткин ответил, что нет – выход у них чисто мужской, без, как говорится...

Ванька вздохнул и кивнул. И было неясно, расстроился он или не очень.

Инна задумчиво смотрела в окно, наблюдая, как муж и сын садятся в машину. Потом убрала посуду, села на стул, посидела немного и стала звонить матери.

А после – подружкам, Кристине и Яне. Перетереть. Ну и, конечно, все про них, про козлов. Про мужиков в смысле.

День прошел бодро и весело – купили игрушки, поели в «Макдоналдсе» запрещенную пищу и даже сходили в кино.

Инна позвонила всего пару раз, и то на телефон сына – мужа не беспокоила.

Придя домой, Куропаткин молча выпил чаю и так же молча лег спать.

Но сон почему-то не шел. Совсем. Он снова стал вспоминать Ольгу и Энск. Думал о Дарье Ведяевой и ее незавидной судьбе. Потом вдруг в голову пришла совсем нелепая и дикая мысль – а может быть, Ольга и родила? Не Дарью, понятно. Другую девочку, ну, или парня. И ходит та девочка или тот парень по шумному, дикому, страшному городу и ищет работу. А работу ему или ей не дают. Шугают провинциалов, обманывают. Такие, как он. Впрочем, он никого не обманывал, нет.

А может, не Ольга тогда родила. В смысле – от него, дурака. А какая-то другая женщина, с кем он когда-то... Во Владивостоке в командировке. Дежурная по этажу. Имени он ее, конечно, не помнит. Но ведь было! И кто там знает, чем дело кончилось? Или вот в Воронеже, например. Девочка Нина. Ее он запомнил. В Воронеж тогда он ездил довольно часто, три раза в год. И девочка Нина была. А вдруг... она? Вдруг?

Он встал с кровати, пошел на кухню, выпил воды, покурил. Снова выпил воды. И лег на диване в гостиной.

Рано утром в понедельник он позвонил Дарье Ведяевой.

– Вы еще в свободном полете? Да? Тогда выходите на службу. Сегодня. Сможете? Ну и отлично. Я жду вас.

Пока!

А потом позвонил Инне Фроловой. Извинялся долго, сумбурно. Она, кажется, удивилась, но ничего не спросила. Вежливо попрощалась и пожелала удачи. «Чудесная женщина, – без сожаления подумал Куропаткин. – Чудесная. Умная, красивая, воспитанная. Как в песне поется: «Ах, какая женщина! Мне б такую!»

Но у него уже есть женщина – пусть не такая, но... тоже красивая. К тому же мать его сына.

А та, умная, красивая и очень воспитанная, – она не пропадет. Это точно. Потому что таких, как она... Раз, два и обчелся.

А Ведяевых Дарий много, конечно. Но ему важно, чтоб не пропала именно эта.

Раз уж случилась конкретно она. Раз уж пришла к нему, к Куропаткину Коле. Тому еще «деятелю», как говорится!

Хорошему «бедокурщику», – как говорила еще его бабушка.

В десять утра его новая секретарша робко вошла в офис.

На ее бледном лице блуждала растерянная и счастливая улыбка.

И было видно, что к подвигам она вполне готова.

Как впрочем, и он, Николай Куропаткин.

И правильно говорит любезная Инна Ивановна: мужчина – это ответственность. И, кстати, за свою бурную молодость тоже.

«Начинать надо, господа, с себя. Именно с себя. Тогда, возможно, все и наладится», – подумал Куропаткин и включил ноутбук.

И с этого дня он очень гордился собой.

## Хозяйки судьбы, или Спутанные богом карты

Хозяйки судьбы...

Лильку Михайлову легко можно было бы возненавидеть. Было бы желание. За тонкую талию, стройные, загорелые и длинные ноги, за большие зеленые глаза. За рыжеватые пушистые волосы. За белые и ровные зубы – без всяких там дурацких пластинок. За школьную форму из магазина «Машенька», не такую, как у всех – прямую, с грубым фартуком с «крыльями». Магазин-ателье «Машенька» предлагал другую: платье с юбкой-гофре, шерсть тонкая и мягкая, а фартук – с узенькими ляпочками и открытой грудкой. Если к советской школьной форме можно было притянуть слово «изящная», то это, несомненно, была она, форма из «Машеньки». Такие формы были у девочек из «хороших семей». С приличными зарплатами.

Да, еще Лильку можно было бы спокойненько возненавидеть за сиреневую дубленку. Вы вообще такое видели? Мало того что дубленка, так еще и сиреневая. Просто извращение какое-то. В школе Лилькина бабка ее не оставляла – еще бы, сопров. Провожала Лильку до школы, не ленилась, и упиралась домой с дубленкой. А потом с ней же и приходила Лильку встречать. И каждый раз громко и скрипуче спрашивала Лильку: «Сколько сегодня – пять или шесть?» В смысле, уроков. Когда назад с дубленкой тащиться.

Да, кстати, еще у Лильки было полно сказочных полупрозрачных ластиков всех цветов с картинками и запахом клубники, банана и еще какой-то неземной вкусноты. Один болван даже этот ластик стащил и попытался сожрать. Конечно, оказалась гадость.

Еще были ручки с перламутровым корпусом, пенал с веселыми мышами в платьях и шортах и многое другое, заманчивое и таинственное. Мелочи, в общем, но они почему-то очень волнуют в детстве.

Но больше всего хотелось ненавидеть Лильку за шарики и канатики. Канатики чередовались с шариками. День в косицы или хвосты вплетались цветные ленточки-канатики, день – так же ловко держались на густых рыжеватых волосах цветные, прозрачные, с искринками внутри, шарики. С орех или даже с небольшую сливу величиной. Невероятная красота. Всех расцветок. Хватило бы на весь класс, да что там – на всю школу, сколько бы девчонок были счастливы! А так это все было у одной-единственной Лильки. Дома девчонки распускали старые шарфы и шапки и из скрученных и застиранных ниток пытались сплести подобию этой красоты. Страхота и смехота.

Но Лилька ничего этого не замечала. Она была хорошей девочкой. Во всех смыслах. В учебе почти первая (самых первых, кстати, не любят). Первое место занимала важная и грудастая Андропова, похожая на женщину средних лет. Вот ту точно не любили. А Лилька и списывать давала, и подсказывала со своей первой парты. И не выскочка, и не общественница. Просто родилась с золотой ложкой во рту. Где таких делают? Может, оттого, что предки не достают каждый день? Так как находятся эти предки в заграникомандировке. В Бразилии, между прочим.

На лето они не засылали Лильку в лагерь или в деревню комаров кормить. Летом она ездила в Рио. Вот так! Просто в Рио. Видали? Все обсуждают дурацкие лагеря с их «линейками» и холодными сортирами, несносных бабок с их огородами и опять же несносных младших братьев и сестер.

– А ты, Лилька?

– А я, девчонки, к родителям, очень соскучилась, – говорила она, слегка смутившись. – Целый год их не видела. Знаете, как плохо без родителей?

Девчонки вздыхали: не-а, не знаем, отдохнуть бы от них, родимых, месяц-другой – достали!

Конечно, учителя Лильку обожали. Мамаши тоже. Все мечтали, чтобы их дочурка с Лилькой поближе подружилась. А Лилька – со всеми одинаковая. Ровнее не бывает. Лучшие мальчишки (если такие бывают в школе) были, конечно, в Лильку влюблены. Все поголовно. Ну и как после этого Лильку не возненавидеть? А почему-то не получалось. Увы! Даже не хотелось.

В десятом, на выпускной приехала Лилькина мать. Точная копия Лильки, то есть наоборот. Только посмуглее (Бразилия!). С такими же зелеными глазами и стройными ногами. А вообще она была похожа на Кармен – цветастые шелковые юбки, огромные серьги в ушах, яркая помада и гладкая, блестящая голова. Она шла по улице, благоухая какими-то горьковатыми духами, и казалось, что сейчас на нее сядет бабочка – на такой яркий, ароматный и диковинный цветок.

На выпускном все смотрели не на сцену, а на Лилькину мать. Пялились мужики – они такого и не видали, пялились тетки – кто злобно, а кто с интересом, разглядывая ее всю – от ярких вишневых ногтей на руках, и далее, со всеми остановками, до таких же вишневых ногтей на маленьких ножках в очень открытых босоножках.

Лилькина мать ни с кем не общалась, а смотрела без улыбки на сцену, где стояла ее дочь – тоже куколка, в голубой, крупными цветами, юбке, в голубых лаковых босоножках и карменистых серьгах, только поменьше размером. Вылитая мать! Клонированная Кармен. Даже сразу не скажешь, кто лучше. Лилька посвежее, а мать покарменистее.

На сцене Лилька что-то спела, ей вручили грамоту, До медали она чуть-чуть не дотянула. Казалось, и медалисткой ей было быть просто неудобно. Ведь она была скромница.

Медаль дали грудастой Андроновой. И когда она вышла на сцену, представитель роно растерялся и не понял, что это вышла десятиклассница. Андропова была в кримпленовом платье с маками и высокой «халой» на голове. На вид ей было около сорока. Только без морщин и отпечатка прожитых лет в глазах.

Верке Большойвой было на все наплевать. Ну, почти на все. На школу уж точно. Ее даже к доске не вызвали – понимали, что ни черта не знает. На родителей, стыдно признаться, было тоже наплевать. Ну, почти. А что тут странного? Отец был хам и пьяница, торговал рядом в магазине. В мясном отделе. Морда злющая, особенно с похмелья, ручки – не дай бог! Верка знает. Все к нему на поклон, заискивают. Всем жрать охота. А он над людьми глумится. Этому – дам, этому – не дам. Не мужик – сорока-ворона. А мать... мать Верка, конечно, жалела. Но не уважала. Мать была тихая и забитая – убирала аптеку в соседнем доме. Платок повяжет по глаза и машет тряпкой целый день, и в аптеке, и дома. Или котлеты тазами жарит. А летом в деревне в огороде раком целый день стоит, опять же в платке.

Кому такая жизнь нужна? С таким папашей-гамадрилом? Верка ее спрашивала, жалела, а она – «Ты, доча, его не знаешь, он хороший, а бывает и ласковый». Точно, видать, бывает. Иногда Верка слышала ночью (стены-то тонкие): папаша рычит, а мать тихо так постанывает. Ей было противно, и она быстро засыпала. А утром на мать смотреть почему-то не хотелось. «Ну живи, убогая, – вздыхала Верка. – У меня-то так не будет». А как будет?

Верка понимала, что надо учиться, чтобы не шваброй шкрябать, а в чистом месте сидеть с маникюром отращенным и бумажки перебирать. Где? Да где угодно. Лишь бы был стол с табличкой «Администратор», а за столом – она, Верка. Хотя чего учиться, если все в этой стране решают связи. А их у папаши – будьте любезны. Только бы не подох от пьянки раньше времени.

Но оказалось, что на администратора нигде не учат, да и вообще это не профессия, а должность. Вот где папаша и пригодится. И учиться на нее не обязательно. Ее надо получить. Если не через папашу, то есть еще пара способов. Но способы были все какие-то трудоемкие. Или быть чьей-то любовницей, или, на худой конец, просто красавицей. То есть администратор – лицо фирмы. Но красавицей быть непросто. Если не все как у Лильки.

Так, бог не обидел, но и не одарил. Лицо – ничего особенного, нос, рот, глаза, волосы – все среднестатистическое. Фигура – без особых изысков, но грозящая к тридцати годам сильно ухудшиться.

Всё среднее. Со всем надо работать. С лицом проще – косметики побольше. Можно, в конце концов, стать яркой блондинкой или брюнеткой. С фигурой – хуже. Вот пожрать Верка любила. А как удержаться? У всех ничего нет, колбасу режут на просвет, а у Верки на шестиметровой кухне два холодильника, и оба – еле дверцы закрываются. Тут тебе и колбаса трех сортов, и отбивные на косточке, и компоты персиковые – папаша старается. Как удержаться?! И грызет целый день Верка бутерброды, запивая дефицитным растворимым кофе, не котлеты же со щами есть, в конце концов. И увы, совсем не худеет.

Школу окончила так, на троечки. Сама никакая, и аттестат такой же. Правда, на выпускной пришла – свои не узнали. Постриглась накануне, причесочка «сэссон» называется, у нее, у первой. Платье джинсовое надела – папашина клиентка-мясоедка постаралась. Не бальное, конечно, но выглядит лучше всех. И босоножки джинсовые на платформе к платью прилагаются. Как Верка не хотела, чтобы папаша в школу тащился! Но он два дня не пил, костюм «с искрой» нацепил и приперся. Мать сидела счастливая (у самой семь классов образования), сняла свой дурацкий платок, сделала укладку – маленькие кудрявые букольки, и Верка увидела, что она еще совсем молодая и даже хорошенькая, и глаза у нее большие и серые. И сама она тоненькая и славная. Даже сердце сжалось.

Потом родители ушли, и детки зарезвились кто как смог. Пошли выпивать втихаря принесенную кем-то водку в физкультурную раздевалку. Кто целовался, кто пел, кто базарил. Словом, привет тебе, взрослая жизнь!

Лилька честно со всеми пила – отказываться и отставать было неудобно, но все это ей совсем не нравилось и хотелось скорее домой, выпить чаю и заснуть под родным и уютным клетчатым пледом. Завтра – завтра мечтать об институте, о новой жизни, конечно, такой долгой и, безусловно, счастливой. Это Лилька знала точно. А вот Верка сомневалась. У нее жизненный опыт был побогаче. Выпивала и курила она с удовольствием и еще громко орала матерные частушки. Домой точно не торопилась.

Под утро рванули в Кунцево, сели в электричку и поехали на дачу к Митьке Шаталину, на Николину Гору. Тогда еще про это место знали немногие. Но Верка, когда увидела прозрачную речку с мелким белым песочком и розовые на восходе сосны, сразу оценила красоту этих мест.

Купались, конечно, голые. Все, кроме Лильки. Ей было плохо от выпитого, болела голова, и она вынужденно улыбалась и проклинала про себя всю эту гулянку. Волосы у Лильки потускнели, под глазами были синячищи – ну, в общем, Кармен после тяжелой смены на табачной фабрике.

Вот тогда и увидели они Митькиного соседа, лучшего мальчика поселка, теннисиста и горнолыжника, синеглазого Андрюшу Лавренева. А он заметил Верку, совсем даже не потерявшую лицо после бессонной ночи и водки с шампанским. Верка хриловато пела Окуджаву, красиво курила, и на ней обалденно сидело джинсовое платье, делая ее тоныше и стройнее. Роман их закрытлся немедленно.

Верка теперь пропадала на Николиной Горе, а Лилька сдавала сложные экзамены в медицинский. Разве есть для женщины профессия лучше и интеллигентнее? Не считая учительницы музыки и английского. Но английский Лилька знала и так, а что до музыки – вполне хватило и музыкальной школы.

Веркина же жизнь на Николиной шла своим веселым чередом. Они с Андрюшей купались, жарились на солнце, ели бесконечные шашлыки. И любили друг друга. Везде. Под любым кустом. Какие экзамены?

Но в августе Верка спохватилась, правда, так, слегка. Мать переживала, что дочка болтается без дела, а отец гаркнул: работать пойдешь! Вот как раз работать-то Верке совсем не хотелось. В институтах экзамены кончились, и пошла Верка в медучилище – чтобы предки не доставали. Работать медсестрой она не собиралась. На ее языке это называлось «уродоваться». Администраторы тогда в больницах не предполагались, и Верка решила, вздохнув, жить как получится, надеясь на лучшее, а главное – получать от жизни удовольствие.

С Андреем осенью как-то все пошло на спад, но она не очень-то огорчилась. Завязался роман с доктором из второй хирургии, потом – с доктором из третьей. Дома было все по-прежнему. Отец пил, мать опускала глаза долу. Но за дочку радовались. Медсестра в их представлении – это почти врач, белый халат, который мать теперь крахмалила Верке, внушал почти благоговение.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.